
В БОРЬБЕ ИДЕЙ ДОСТОЕВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1

Как свидетельствуют неполных сто лет, прошедших после смерти Достоевского, образ великого русского писателя за это время не потускнел. Достоевский остался для нас современником, он оказывал постоянно, с самого начала XX столетия, и продолжает оказывать сегодня громадное влияние на литературу и духовную жизнь человечества. Своими различными гранями творчество русского романиста воздействовало на многих непохожих друг на друга мыслителей и художников нашего века — А. Блока и М. Горького, А. Эйнштейна и Т. Манна, Р. Роллана и Т. Драйзера, У. Фолкнера и Ф. Феллини, К. Федина, Л. Леонова, А. Платонова и М. Булгакова, А. Зегерс, А. Камю и Акутагаву. Присутствие Достоевского в жизни и литературно-общественной борьбе XX века по общему историческому закону отбрасывает обратный свет на самые творения Достоевского, позволяет нам сегодня увидеть в них новые важные грани, осмыслить многое в них шире и глубже, чем это было доступно прошлым поколениям.

Основная причина, которая порождает неизменный и даже растущий интерес к Достоевскому людей XX века, — та огромная внутренняя напряженность, которая свойственна всей общественной, духовной и нравственной жизни нашего века, напряженность, которая отличает его жизнь от жизни других эпох. Этой внутренней напряженности материальной и духовной жизни XX века — века великих революционных преобразований в истории человечества и вместе с тем века двух мировых войн, века разворачивающейся на наших глазах научно-технической революции, ломающей привычные в прошлом нормы и представления, — созвучна духовная напряженность творчества Достоевского, напряженность бытия, мироощущения, мысли, страстей его главных героев.

Учителя молодого Достоевского — утопические социалисты 1830—1840-х годов — делили, опираясь на схему, предложенную Сен-Симоном, все эпохи истории человечества на более или менее мирные, «органические», и кризисные, переломные, «критические». Достоевского можно смело назвать художником «критической» эпохи. Он сам хорошо сознавал это¹ и именно в этом смысле был склонен противопоставлять основное направление своих художественных исканий творчеству своих наиболее выдающихся предшественников и современников.

Со взглядом Достоевского на себя как на художника критической, переломной эпохи тесно связаны духовная напряженность, которая пронизывает его романы, и основные черты его художественного новаторства — черты, близкие литературе XX века.

Достоевский никогда не изображал жизнь в ее эпически неторопливом, спокойном, размеренном течении. Ему было свойственно особое, обостренное внимание к кризисным состояниям в развитии общества и отдельного человека. Жизнь в изображении Достоевского чревата на каждом шагу возможностями острых и неожиданных изломов и потрясений, под внешней корой обыденности в ней таятся скрытые подземные силы, которые в любую минуту готовы вырваться — и вырываются наружу. Эти подземные силы грозят и человеку и обществу разрушением — но они же могут быть обузданы, стать основой для нового созидания.

В силу многогранности своего содержания творения Достоевского зачастую получали в ходе литературно-общественной борьбы XX века разноречивые, иногда полярно противоположные истолкования. Почти каждое из философских и эстетических течений, возникших в предреволюционной России, а позднее — в Западной Европе и США, после смерти великого романиста, испытывало соблазн «присвоить» его себе, представить Достоевского в качестве своего единомышленника или предтечи. В многочисленных монографиях и статьях конца XIX и начала XX века Достоевский изображался как писатель-натуралист или предтеча символизма.

¹ «Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа», — заявлял Достоевский в 1873 году (21, 58). И столь же настойчиво он с 1849 по 1881 год подчеркивал острокризисный характер момента, переживавшегося в его время Западной Европой.

Позднее Достоевского не раз воспринимали то ницшеанцем до Ницше, то христианским философом, то — в последние десятилетия за рубежом — экзистенциализмом — в соответствии с философскими и художественными симпатиями его почитателей. В действительности — и это подтверждает уже само постоянно увеличивающееся число подобных разпоречивых и односторонних истолкований — творчество Достоевского шире каждого из них. Его смысл не может быть уложен в прокрустово ложе тех или иных более или менее влиятельных на современном Западе художественных и философских доктрин. Этому мешает историческое богатство содержания произведений романиста, который, стремясь дать ответы на основные вопросы жизни человечества, искал на разных этапах своего пути их решение в разных направлениях, снова и снова возобновлял свои искания, пытаясь широко и полно охватить всю совокупность часто противоречивых, не сводимых к одному философскому или художественному знаменателю социальных, психологических и идеологических тенденций исторической жизни своего времени.

Для того чтобы в наше время верно понять значение любого выдающегося явления классической литературы, мы должны оценивать его не только в свете жизненных вопросов той, уже прошлой для нас, исторической эпохи, когда оно было создано, но и в свете всей позднейшей истории человечества, вплоть до сегодняшнего дня. Есть немало художников и произведений, восторженно принятых многими из их современников (а иногда и ближайших потомков!), слава которых оказалась более или менее быстротечней и которые сейчас не вызывают у нас уже того горячего интереса, какой испытывали по отношению к ним их первые читатели и зрители. И наоборот, есть великие писатели, великие художники и мыслители, значение которых со временем не только не уменьшилось, но возросло и даже по-настоящему раскрылось для человечества лишь в более широкой и сложной исторической перспективе нашего века. К числу таких писателей бесспорно принадлежит Достоевский. В спорах вокруг Достоевского и в различных истолкованиях его творчества непосредственно отражается борьба основных общественных сил и идеологических направлений современности.

Достоевский не мог пожаловаться на равнодушие к себе литературы и критики уже своего времени. По

одному первому его произведению Белинский верно угадал общие масштабы его дарования — пример критической проницательности, каких мы немного знаем в истории всей мировой литературы. Однако тогда, когда Достоевский создавал одно за другим свои величайшие произведения, после смерти Белинского и Добролюбова, его взаимоотношения как писателя с мыслящими современниками приобрели более драматический характер. Было бы неверно объяснять это только социально-политическими, идеологическими расхождениями Достоевского с передовым лагерем, как это нередко делается. Дело обстоит сложнее. Не только «почвенническая» общественно-политическая утопия Достоевского, во многом туманная, реакционная и противоречивая, но и создававшиеся им художественные картины, даже самый метод его художественного мышления вызывали у читателей 1870—1880-х годов известное сопротивление, вели ко множеству недоуменных вопросов.

Мир, нарисованный уже в «Преступлении и наказании», а в еще большей степени в «Идиоте», в «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых», казался многим современникам писателя, а затем и первым его ценителям за рубежом искусственным и фантастическим, характеры, нарисованные в этих романах, — исключительными, нарочито взвинченными и неправдоподобными, композиция произведений русского романиста — хаотической и неясной. Н. К. Михайловский, в известной статье которого «Жестокий талант» (1882) отражены многие из подобных недоумений, упрекал Достоевского в нарочитой жестокости, из-за которой он подвергает своих героев, а вместе с ними и читателя, ненужным мучениям. Произведения Достоевского представлялись многим его истолкователям в 1880-х годах всего лишь блестящими психологическими штудиями различных сложных случаев душевных болезней, ценными прежде всего со специальной — медицинско-психиатрической или криминалистической — точки зрения. Э. М. де Вогюэ, автор известной книги «Русский роман» (1885), сделавший много для распространения в Западной Европе славы Достоевского и других русских романистов XIX века, видел значение «Идиота» и «Братьев Карамазовых» не столько в анализе социальных, нравственных и психологических проблем, порожденных общими условиями жизни человечества и имеющих широкое, обще-

человеческое значение, сколько в отражении особых, незнакомых западному человеку метафизических свойств «русской души».

В настоящее время охарактеризованные только что попытки критики 1870—1880-х годов постигнуть смысл произведений Достоевского, определить их историческое место в развитии русской и мировой литературы представляются (и не могут не представляться) наивными и близорукими. История человечества за 100 лет, прошедших после смерти Достоевского, внесла в эту критику неумолимые поправки. И в свете ее уроков основные коллизии, воссозданные в романах и повестях Достоевским, воплощенные в них человеческие характеры и судьбы предстали перед нами в ином виде, чем перед умственным взором тех критиков, которые имели возможность впервые обозреть весь его творческий путь в целом и пытались дать ему свою оценку.

Широко известны слова К. Маркса, произнесенные им на юбилее чартистской газеты «The People's Paper» 14 апреля 1856 года, в то время, когда Достоевский, недавно отбывший срок каторги за участие в деле петрашевцев, проходил унтер-офицерскую службу в Семипалатинске:

«Так называемые революции 1848 года были лишь мелкими эпизодами, незначительными трещинами и щелями в твердой коре европейского общества. Но они вскрыли под ней бездну...

В наше время все как бы чревато своей противоположностью... Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы»¹.

В этих словах проницательно отмечены многие из тех трагических черт, которые были объективно присущи эпохе Достоевского, но которые далеко не полно и не всегда осознавались его современниками в России и

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 3—4.

на Западе. И характерно, что, анализируя ее основные черты, Маркс говорил в 1856 году о «признаках упадка, далеко превосходящего все известные в истории ужасы последних времен Римской империи»¹. Это определение во многом совпадает с диагнозом Достоевского, не раз прибегавшего при оценке современной ему ступени развития цивилизации к тому же сравнению (которым пользовался, впрочем, не один Достоевский, но и Герцен, и Чернышевский, и другие русские люди 50—60-х годов). Вспомним статьи Достоевского о «Египетских ночах» Пушкина или характеристику Федора Павловича Карамазова в его последнем романе!

Достоевский жил в переходную эпоху, трагический смысл которой не угадывался большинством людей того времени. Нужен был талант, равный Шекспиру, чтобы ощутить и адекватно выразить на языке искусства трагические черты, свойственные той эпохе. Особые свойства таланта Достоевского, его, отмеченные еще Белинским, чуткость к трагическим сторонам жизни и отзывчивость к человеческому страданию сделали русского писателя Шекспиром своего времени. В созданном им жанре романа-трагедии Достоевский с потрясающей силой воплотил для будущего многие трагические черты русской и западноевропейской жизни не только своей эпохи, но и последующих десятилетий.

2

Несмало исследователей Достоевского на Западе, вслед за Мережковским, Бердяевым и другими русскими критиками начала XX века, идейно связанными с символистским движением, утверждают до сих пор, что центральные вопросы творчества Достоевского — вопросы метафизического порядка, решение которых будто бы не имеет никакого отношения к тому или иному решению вопросов социальной и политической жизни. Подобному — глубоко ошибочному — истолкованию противоречит все творчество великого русского романиста.

Как неоспоримо свидетельствуют романы и повести Достоевского, его внимание как человека и художника с первых шагов литературной деятельности и вплоть до конца жизни было обращено к центральным вопросам общественного бытия его эпохи. Общеизвестно, что

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 3.

Достоевский назвал себя сам художником, одержимым «тоской по текущему», — все его романы были неизменно посвящены современности. И вместе с тем современная ему, «текущая» действительность рассматривалась Достоевским как критическая, переломная эпоха в жизни России и Европы, эпоха, подводющая итоги одной и служащая прологом другой, новой эпохи общественно-исторического и культурного развития.

Достоевский отнюдь не стоял на той точке зрения, модной в наше время среди философов общественной реакции и регресса, что история человечества не имеет единого общего направления, что она состоит из ряда повторяющихся, неизменных в своей основе явлений. Наоборот, Достоевский был горячо убежден, что основной смысл его эпохи состоит в «перерождении человеческого общества в совершеннейшее» (25, 193), то есть в поисках путей и форм осуществления таких реальных, земных форм человеческого общежития, которые были бы основаны на справедливости и братстве. В этом отношении — о чем никогда не следует забывать — идеалы Достоевского, как верно поняли и Салтыков-Щедрин, и осудивший Достоевского за это Константин Леонтьев, при всем историческом своеобразии взглядов писателя, до конца жизни совпадали с идеалами социалистов и революционеров его и нашей эпохи, а не с воззрениями представителей тогдашней и современной реакции.

Достоевский не создал ни одного произведения на историческую тему, хотя, как мы знаем, он несколько раз задумывал такие произведения. Все его писательское внимание было отдано «текущей» действительности, ибо именно здесь, с точки зрения Достоевского, бился главный нерв человеческой истории, подводились итоги всему прошлому и определялись пути будущей жизни человечества.

Большой город, классическими романистами которого на Западе в XIX веке явились Бальзак и Диккенс, а в России — Достоевский, был для литературы не только новой темой в ряду других. Как гениально почувствовал каждый из названных великих романистов, новый уклад городской жизни, который возник в XIX веке, оказал влияние на самые основы поэтической образности. Весь характер общественных отношений, темп и ритм человеческой жизни изменились под влиянием тех социально-экономических причин, которые Маркс и

Энгельс охарактеризовали в «Манифесте Коммунистической партии». Не только в литературе, но и в самой действительности возникли новые измерения общественного бытия и человеческого сознания.

«Человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то», — писал Достоевский, защищая свой суровый реализм (Письма, II, 274). Вопреки Михайловскому, жестокой была прежде всего современная ему действительность, от которой великий русский романист не хотел отворачиваться. Историческая жизнь XIX века, с двумя разрушительными мировыми войнами, массовыми уничтожениями беззащитного населения, гитлеровскими лагерями смерти и другими преступлениями имущих классов старого общества, своей жестокостью превзошла самые страшные предвидения Достоевского.

Но Достоевский был не только новым Данте, не побоявшимся спуститься в самые мрачные круги ада души человека буржуазной эпохи и взявшего на себя изучение его нравственных язв. Чем более «фантастичен» и бесчеловечен окружающий человека мир, тем горячее, по убеждению Достоевского, в нем тоска человека по идеалу и тем более велик долг художника «найти в человеке человека», показать без всяких искусственных прикрас, «при полном реализме», не только господствующим в мире уродства и «хаос», но и скрытый в «душе человеческой» порыв к идеалу, стремление к «восстановлению погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» (20, 28), как Достоевский писал в статье о «Соборе Парижской богородицы» В. Гюго.

Мир, изображаемый Достоевским, — это мир, где, по замечанию Ленина, относящемуся к пореформенной эпохе русской жизни, в различных слоях населения с особой силой проявился бурный подъем чувства личности¹. В том царстве «мертвых душ», которое изображал Гоголь, отдельный человек был подавлен и обезличен, превращен существующим помещичьим и чиновничьим строем в простое колесико бюрократической машины, подобно Поприщину или Акакию Акакиевичу. Достоевский же еще в «Бедных людях» и других пер-

¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 433.

вых своих произведениях, как понял Добролюбов, изобразил пробуждение человеческой личности даже у самого обезличенного и обкраденного жизнью «человека-ветошки». В романах и повестях Достоевского нет ни одного вполне пассивного и обезличенного человека, в котором так или иначе — пусть в изломанном и исковерканном виде — не проявилось бы «выламывающееся» из традиционных сословных форм поведения и мышления личное начало. В сложный процесс неуспокоенности, движения и нравственных исканий у Достоевского втянуты студент Раскольников и маляр Миколка, «праведник» князь Мышкин, «камелия» Настасья Филипповна и купеческий сын Рогожин, скептик Иван Карамазов, его брат «ранний человеколюбец» Алеша и подросток «ингилист» Коля Красоткин.

Художественный мир Достоевского — это мир, который, так же как и сам его творец, — «весь борьба». Это мир мысли и напряженных исканий. Те же социальные обстоятельства, которые в эпоху буржуазной цивилизации разъединяют людей и порождают зло в их душах, активизируют, согласно диагнозу писателя, их сознание, толкают его героев на путь сопротивления, рождают у них стремление всесторонне осмыслить не только противоречия современной им эпохи, но и итоги и перспективы всей истории человечества, пробуждают их разум и совесть.

У Шекспира несходные персонажи — короли и шуты — каждый на своем особом языке, в соответствии с уровнем своих понятий, то возвышенно, то низменно выражают общее для людей той эпохи убеждение, что мир трагически «вывихнут» и нуждается в изменении. Так и у Достоевского: внутренние активны, ощущают по-разному свое собственное «неблагообразие» и «неблагообразие» окружающего общества Мармеладов и Раскольников, Мышкин и Лебедев, Федор Павлович и Иван Карамазовы. Все эти герои — хотя и в разной степени — одарены совестью и сознанием, каждый по-своему умен и наблюдателен в меру своего практического и теоретического жизненного опыта и участвует в общем диалоге, затрагивающем и освещающем с разных сторон центральные, «больные» вопросы исторической жизни человечества, его прошлого и будущего.

Отсюда — острый интеллектуализм романов Достоевского, их насыщенность неуспокоенной, пытливей

философской мыслью, столь близкие людям нашего времени и родственные лучшим образцам литературы XX века.

Достоевский сознавал, что повседневная будничная жизнь общества его эпохи рождает не только материальную нищету и несправедливость. Она вызывает к жизни также, в качестве их необходимого духовного дополнения, различного рода фантастические «идеи» и идеологические иллюзии — «идеалы содомские» в мозгу людей, не менее гнетущие, давящие и кошмарные, чем внешняя сторона их жизни. Индивидуалистическая цивилизация, трагически разобщающая людей и отрывающая их друг от друга, порождает, согласно диагнозу автора «Братьев Карамазовых», свой, потенциально враждебный живому человеку, холодный и отвлеченный формально-логический тип мышления, который является ее необходимым духовным выражением и дополнением. Внимание Достоевского, художника и мыслителя, к этой сложной, «фантастической» стороне жизни большого города позволило ему соединить в своих повестях и романах скудные и точные картины повседневной, «прозаической», будничной действительности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, такой философской масштабностью образов и силой проникновения в «глубины души человеческой», какие лишь редко встречаются в мировой литературе.

Но не только тема внутренней противоречивости, «иррациональности» внутреннего мира личности, живущей в обществе, вся повседневная жизнь которого подчинена безусловным и безличным, темным законам, враждебным живому человеку, получила в творчестве Достоевского глубочайшее трагическое отражение. В нем ярко выразилась и противоположная тенденция общественной жизни XIX и XX веков — неизмеримо выросшая по сравнению с прошлыми временами роль идей в жизни общества.

Исследователи Достоевского, начиная с Б. М. Энгельгардта, много писали об особой роли и особой постановке «идей» в его романах. Достоевский необычайно чутко, во многом пророчески, если учесть время, когда писались его романы, выразил возросшую на пороге XX века роль идей в общественной жизни. С идеями — по Достоевскому — нельзя шутить. Идеи — это тоже своего рода живые существа, одаренные кровью и плотью. Они могут быть благотворны, но могут стать и

ядовитыми трихинами, разрушительной силой в жизни и отдельного человека, и общества в целом¹.

В своих романах Достоевский постоянно испытывал на прочность не только различные типы людей, но и распространенные в его время или рождавшиеся на его глазах системы идей. При этом, как писатель, бывший в молодости свидетелем крушения системы Гегеля, Достоевский разделяет тот скептицизм по отношению к возможностям довлеющей самой себе «абсолютной идеи», который по-разному проявился у всех выдающихся людей 1840—1860-х годов. Любые абстрактные идеи Достоевский всегда стремится проверить практикой жизни живого человека и больших человеческих масс. Романы Достоевского и являются, в сущности, каждый раз грандиозной художественной лабораторией, где испытываются на прочность различные социальные и философские идеи прошлого и настоящего и при этом раскрываются не только их явные, но и скрытые потенции, их «про» и «контра», их благотворность для человечества или их способность служить орудием зла в руках фанатика или «обманутого обманщика» — категория, к которой принадлежат многие из его трагических героев.

Поразительна смелость замысла «Жизни великого грешника», где Достоевский намеревался свести в словесном поединке людей разных лагерей и эпох — Пушкина и Чаадаева, Тихона Задонского, Белинского и Грановского, современных ему религиозных «сектаторов» и атеистов. Этот грандиозный замысел напоминает скорее средневековую монументальную живопись и скульптуру, фрески и философские диалоги эпохи Возрождения, «Божественную комедию» Данте и «Афинскую школу» Рафаэля, чем романы большинства современников Достоевского в России и на Западе. И в то же время в нем, как в капле воды, отражается близость исканий Достоевского к художественному миру современности с присущей ему сложностью, сознанием относительности границ исторического времени и пространства.

¹ Вопрос о роковой роли идеологического «самообмана» героев Достоевского и об отношении его к идеям как живым существам превосходно освещен в последние годы в работах о «Преступлении и наказании» Ю. Ф. Карякина, в частности в его книге «Самообман Раскольников» (М., 1976).

Достоевский рано почувствовал под влиянием еще утопической по своему характеру социалистической мысли своей эпохи, что современная ему культура стоит на пороге великого исторического перелома, равного по своему значению крушению античной цивилизации, а может быть, и превосходящего его. Зачатки этой идеи, ставшей во многом определяющей для творчества великого русского писателя, можно уловить уже в тех тревожных размышлениях о грядущих судьбах Западной Европы, которые получили отражение в 1849 году в показаниях Достоевского по делу петрашевцев. Но особенно отчетливо мысль об историческом рубеже, перед которым стоит старая цивилизация, возникла перед Достоевским после его возвращения с каторги.

В «Преступлении и наказании» Раскольников испытывает глубокое возмущение миром, символами которого ему представляются сладострастный помещик Свиригайлов, преследующий его сестру, и никому не нужная, отталкивающая физически и духовно ростовщица Алена Ивановна. Герой Достоевского хочет, в отличие от других, близких ему литературных героев — пушкинского Германа, Растиньяка, Жюльена Сореля, — не столько изменить свое собственное положение и даже положение своей матери и сестры и других бедняков: Раскольников жаждет переменить весь существующий мировой порядок. Этот русский студент, исключенный из университета по бедности, хотел бы открыть для человечества новую, еще неведомую эру. Именно в этом смысл утверждаемого Раскольниковым нового, как ему представляется, морального кодекса, признающего право отдельных «необыкновенных людей», «властелинов судьбы» свободно, по своему произволу «делать» историю, не останавливаясь перед кровью и злом.

Мысль о необходимости коренного перелома в социальных и нравственных судьбах человечества, об исчерпанности его прежних исторических путей, о необходимости утверждения новых социальных и нравственных норм, которые сдвинули бы человеческое общество с мертвой точки, по-разному высказывают герои и других романов Достоевского: Мышкин, Ипполит, Лебедев в «Идиоте», Кириллов и Шатов в «Бесах», Версилов в «Подростке», старец Зосима, Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы в последнем романе писателя.

Особенно выразительна, может быть, в этом смысле фигура Кириллова, который хочет принести себя в жертву, чтобы разбудить спящее человечество и заставить его избрать новые пути. Раскольников полагал: для того чтобы история открыла свою еще неизвестную страницу необыкновенным людям, нужно отрешиться от традиционной морали и признать свое особое предназначение. Кириллов же верит, что достаточно человечеству победить страх смерти — и на земле начнется другая жизнь. И своим «идейным» самоубийством, как Раскольников своим «идейным» преступлением, он хочет показать окружающим людям пример победы над собой, — пример, который побудил бы их к пересмотру всех прежних, привычных нравственных ценностей и устоев¹.

Раскольников и Кириллов чувствуют себя стоящими на пороге новой исторической эры, в той нулевой точке, с которой должен начаться новый отсчет времени. Их заветное стремление — перешагнуть ее, совершить скачок из царства необходимости в царство свободы и указать в него дорогу всем, кто способен пойти вслед за ними. Но пути, которые указывают как названные, так и другие главные герои Достоевского, неизменно — об этом свидетельствует трезвый анализ автора — оказываются ошибочными, и поэтому, переходя от слов к делу, герои его переживают крах. В этом — трагический смысл историй, рассказанных Достоевским в каждом из его главных романов.

В своих произведениях Достоевский создал новый в литературе XIX века тип трагического героя. Как герои античной трагедии или трагедии Шекспира, главные герои романов-трагедий Достоевского — люди незаурядные, одаренные глубоким сознанием и сильной волей. Все они — хотя и по-разному — глубоко мыслят о мире, сознают необходимость изменения своей и окружающей жизни и часто готовы ему содействовать. В то же время — и это также черта, роднящая главных героев Достоевского с героями классического эпоса и трагедии, — герои Достоевского наивны. Обычно в научной литературе о Достоевском эту черту связывают (вслед за самим автором) лишь с образом Мышкина. Но так же, как наивен до комизма не только Дон-Кихот, но и тра-

¹ О своеобразном «мессианизме» Раскольникова и других героев-бунтарей Достоевского см.: Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова, 2-е изд. М., 1974.

гически наивны — в отличие от Яго, Гонерильи и Реганы — Отелло и король Лир, так же наивны Раскольников, Кириллов, Шатов, в отличие от лишенных наивности, циничных, при всем своем уме, а потому осужденных на бездействие Свидригайлова и Ставрогина. Наивность трагических героев Достоевского в том, что они до поры до времени полны доверия к своей идее и к своей способности ее утвердить. Отсюда их желание осуществить искомое преобразование жизни в одиночку, своими силами, на собственный страх и риск. Подобно шекспировскому Гамлету, почти каждый из героев Достоевского сознает, что распалась прежняя, устойчивая «связь времен». И несмотря на мучающие их порою (как и Гамлета) сомнения и колебания, Раскольников или Мышкин полны решимости своими силами ее восстановить, ибо другого выхода из создавшегося положения они не видят. Лишь испив роковую чашу до дна, эти герои Достоевского на своем личном опыте убеждаются в трагической односторонности и неполноте своей «идеи». Но и испытав сознание своего поражения, они не стараются малодушно оправдать себя и переложить ответственность за свою вину на других. Как царь Эдип, Макбет или Отелло, они принимают вину на себя, сами казнят себя за нее покаянием, душевным расстройством и самоубийством.

После пребывания на каторге и знакомства с обитателями «мертвого дома» Достоевский отказывается верить, что человеческая масса представляет простой пассивный материал, всего лишь объект для «манипуляции» со стороны различного рода — пусть даже самых благородных и бескорыстных по своим целям — утопистов и «благодетелей человечества». Народ не мертвый рычаг для приложения сил отдельных, более развитых или «сильных» личностей, а самостоятельный организм, историческая сила, одаренная умом и высоким нравственным сознанием. И любая попытка навязать людям идеалы, не опирающиеся на глубинные слои сознания народа с его глубокой совестью, потребностью в общественной правде, заводит личность в порочный круг, казнит ее нравственной пыткой и муками совести — таков вывод, который Достоевский сделал из опыта поражения петрашевцев и западноевропейской революции 1848 года.

Основной недостаток многих даже из лучших работ об общественных взглядах Достоевского и о его эти-

ческом мировоззрении в том, что авторы этих работ, как правило, хотят дать на вопрос о смысле идей Достоевского однозначный, недиалектический ответ. Достоевский выглядит в их изображении либо верующим, либо атеистом, либо апостолом мятежа и разрушения, либо проповедником любви. Есть, правда, и третья, также распространенная точка зрения — что симпатии Достоевского раздваивались и что он был склонен то к мятежу, то к смирению, колеблясь то в одну, то в другую сторону. Каждую из этих концепций легко подкрепить немалым числом высказываний Достоевского. И все же думается, что они скорее затрагивают периферию мировоззрения писателя, чем указывают на подлинный его стержень.

Достоевский точнее, чем его исследователи, указал на тот основной вопрос, который оставался для него альфой и омегой всех его исканий. И вопреки распространенному мнению, это был вопрос не отвлеченно религиозный или чисто этический, но общественно-исторический. Проблема «девяяти десятых человечества», проблема народа и права его на свое слово в истории — вот как сам Достоевский определял главное зерно своего мировоззрения. И определив его так, он был более прав, чем те, кто полагает, что главными для Достоевского были отвлеченные моральные или религиозные проблемы.

В 50-х годах в «мертвом доме» писатель столкнулся с тем же, с чем на двадцать — тридцать лет позже столкнулись многие участники «хождения в народ» 70—80-х годов. Достоевский-петрашвец признавал себя носителем идей обновления человечества, борцом за его освобождение. Но люди из народа, с которыми он столкнулся в остроге, не признали его своим, увидели в нем «барина», «чужого». Здесь исток трагических общественных и нравственных исканий Достоевского.

Из нравственной коллизии, в которой оказался Достоевский, были возможны разные выходы. Один — тот, к которому склонились позднее народнические революционеры 1870-х годов. Главным двигателем истории они признали не народ, а критически мыслящую личность, которая должна своим активным действием и инициативой дать толчок мысли и воле народа, пробудить его от исторической апатии и спячки.

Достоевский извлек из той же коллизии иной, противоположный вывод. Его, мало задумывавшегося, как

и другие дворянские революционеры, о народе до каторги, поразила не слабость народа, а присутствие в нем своей, особой силы и правды. Народ не «чистая доска», на которой интеллигенция имеет право писать свои письма. Народ не объект, а субъект истории. Он обладает своим слагавшимся веками мировоззрением, своим — выстраданным — взглядом на вещи. Без чуткого, внимательного отношения к ним, без опоры на историческое и нравственное самосознание народа невозможно сколько-нибудь глубокое преобразование жизни. Таков тот вывод, который стал краеугольным камнем мировоззрения Достоевского после каторги.

«Преклонение перед народной правдой», о которой писал Достоевский, не метафора, а подлинный стержень его мировоззрения, важный и для сегодняшнего дня. Именно отсюда вытекают и сильные и слабые стороны идей писателя. Достоевский преклонялся перед образом Христа не потому, что он был с детства религиозным человеком, как часто пишут в книгах о нем, а потому, что он считал, что в образе Христа, не в его официальном, церковном, а в его народном толковании, выражен нравственный идеал народа, представление его о совершенной человеческой личности. Ненавидевший Николая I писатель был — как это ни парадоксально — готов признать необходимость царя, ибо люди из народа, с которыми он сталкивался, были в большинстве своем настроены аполитично и разделяли веру в царя как народного заступника. Другими словами, народ, его симпатии и антипатии — вот тот ориентир, которому Достоевский старался следовать и от которого зависели его общественная позиция и этический пафос. Писатель принял свои идеалы из рук народа со всеми ошибками и заблуждениями тогдашней народной мысли.

Вот почему общественная и философская позиция Достоевского, вопреки распространенному мнению, не была всегда равна самой себе и не поддается отвлеченному истолкованию по принципу: «да—да», «нет—нет». Во взглядах его было значительно больше диалектической логики, чем принято думать. Достоевский видел один из главных пороков всей старой, классовой цивилизации в том, что она была построена на крови и страданиях людей, в том числе невинных детей. Он страстно осуждал насилие и пролитие крови. Но когда народные массы России, по твердому убеждению Достоевского, единодушно встали на поддержку южных сла-

вян в их воссужденной борьбе против турецкого ига, писатель приветствовал эту борьбу, признав ее священной. И здесь нет никакого противоречия во взглядах писателя или выражения свойственных ему внутренних колебаний, — Достоевский в этом случае остался верен своему главному принципу — неколебимой ориентации на народ и его убеждения. Точно так же, как бы это ни смущало многих поклонников Достоевского, он, будучи горячим, убежденным проповедником мира между народами, был готов признать устами своего «парадоксалиста», что в конкретных условиях буржуазной цивилизации мир нередко бывал не лучше, а «хуже» войны, ибо нес с собой исторический застой, свободу насилия богатого и сильного над слабым и угнетенным.

Народ в понимании Достоевского — это мужик Марей с его глубоким чувством справедливости. Но это и своеобразно истолкованный им некрасовский Влас, способный к стихийному бунтарству и к оскорблению традиционных святынь. Это маляр Миколка, желающий пострадать за «брата» по человечеству, но и протопоп Аввакум, да и вообще русский раскол, с их фанатической преданностью своим убеждениям и готовностью их защищать. Это герой русско-турецкой войны солдат Фома Данилов и странник Макар Долгорукий, странничеством искупающий свои и чужие грехи и умирающий среди людей, ни один из которых не пойдет по его пути, хотя его искания и не будут ими забыты. Это деревенские женщины, пришедшие на богомолье в монастырь, к старцу Зосиме, но и другие, стоящие у околицы погорелого села, — те крестьянские бабы, на лицах которых застыло выражение безысходной скорби и недоумения. И именно этот многоликий, но в основном и главным единый, в понимании писателя, коллективный образ стал для него компасом в его моральных исканиях и художественной работе.

Достоевский не видел в России 60—70-х годов революционного народа. Этим, в конечном счете, объясняются главнейшие противоречия его общественно-политического мировоззрения. Но в своих художественных и философских концепциях он исходил не из априорных метафизических и моральных построений, как его сегодняшние отвлеченно-философские истолкователи, а из того конкретного опыта народной жизни и народных нравственных исканий, которые он наблюдал. В этом

живая основа его тревожного и действенного, а не созерцательного гуманизма.

Одной из самых типичных черт, свойственных различным направлениям современной идеалистической философии на Западе, является презрительное отношение к «массовому человеку». Исходя из верного признания факта огромного распространения в буржуазных странах в наши дни различного рода «массовой культуры» и суррогатов художественного творчества, оглуляющих и разлагающих массы, современные западные «критики культуры» изображают «девять десятых человечества» живущими безраздельно в мире «тап» (как говорят экзистенциалисты), то есть в мире массового гипноза и «отчуждения», лишаящих «человека массы» способности к самостоятельной мысли и деятельности. Лишь отдельные одиночки способны, по убеждению большинства современных западных «властителей дум», освободиться от власти «тап», отбросить прочь обманчивое покрывало Майи и обрести свободу духа, недоступную «массовому человеку». Так возрождается в наше время в новых формах то роковое заблуждение, от которого Достоевский стремился предостеречь человечество еще сто лет назад.

В отличие от тех многочисленных современных зарубежных «властителей дум», которые, принижая массу, гарод, поднимают на ходули образ человека-одиночки, Достоевский был твердо убежден в противном: личность, которая смотрит на народ всего лишь как на пассивный объект, неспособна сдвинуть цивилизацию с мертвой точки. Если она одарена умом и совестью, она неизбежно обречена на внутреннюю трагедию. Это убеждение Достоевского проходит в различных формах через все его романы и повести.

Достоевский был убежден, что и отдельный человек, и народные массы не могут и не должны служить объектом для «манипуляции» имущих классов, а также различного рода одиночек, мнящих себя Провидением, какими бы благородными целями последние при этом, как им представляется, ни руководствовались. Человек, возмнивший, что он имеет право свободно и безнаказанно «манипулировать» другими людьми, не считаясь с ними, с их разумом и совестью, уже тем самым оторвался от них, встал на тот путь противопоставления «одной» и «девяти десятых» человечества, который был сновой отвергавшейся Достоевским цивилизации, — та-

ков, в конечном счете, в понимании романиста, глубинный смысл трагедии Раскольникова.

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба: се так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты бог или злодей, —

писал о трагедии мятежной, гордой и одинокой личности Лермонтов — великий поэт, которого Достоевский считал одним из двух «демонов»-пророков русской литературы. Достоевский продолжил начатый этим и другими писателями первой половины XIX века анализ души человека-одиночки, сжигаемого чувством неудовлетворенности и в то же время оторвавшегося от большой человеческой массы. И Достоевский показал, что в подобных «сумерках души» (или психологическом «подполье», если воспользоваться его собственным термином) может рождаться не только «рай», но и «ад», могут возникать не только светлые надежды и мечты Шиллера, Жорж Санд, Фурье и других провозвестников нового мира, но и мрачные фантазии Германа, Скупого рыцаря, Раскольникова и даже Шигалева. Это скорбное и мрачное предвидение не было ошибочным. Позднейшая история буржуазной философской мысли XX века, многочисленных блужданий анархо-индивидуалистического типа в жизни и в искусстве, нашедших свое отражение в целой галерее образов романа XX века, от героев ранних книг Киута Гамсуна до Адриана Леверкюна в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, доказала обоснованность тревоги Достоевского.

И здесь, хотя это утверждение противоречит многим ходячим представлениям, есть определенная — и притом немаловажная — точка совпадения коренных убеждений Достоевского и приверженцев марксизма.

Ибо принципиально иначе понимая «народную правду», чем Достоевский, марксизм также отвергает взгляд на народ как на пассивный материал для имущих классов и различного рода одиночек, обладающих монополией на сознательную жизнь и на историческую инициативу. Глубочайшее уважение к народным массам, к их разуму и морали, твердое убеждение в том, что без творческого приобщения самого народа к исторической жизни невозможно «новое слово» русской

и всемирной истории, были свойственны идеологам борющегося пролетариата Марксу и Ленину отнюдь не менее, чем Достоевскому, хотя они и решали философские и социальные вопросы, волновавшие последнего, иначе, чем автор «Бедных людей».

Как известно, молодые Маркс и Энгельс были близко связаны с братьями Бауэрами и другими радикальными младогегельянцами, с которыми они еще до революции 1848 года резко разошлись — и притом именно по вопросу о взаимоотношении личности и массы. Из «Святого семейства», первого совместного сочинения Маркса и Энгельса, вышедшего из печати в год, когда Достоевский писал свою первую повесть, мы знаем, в чем состояла суть расхождения Маркса с Бауэрами. Бруно Бауэр и его единомышленники считали субъектом истории, ее единственной движущей силой радикальную интеллигенцию. Народ же фигурировал в их сочинениях в качестве «косной массы» — простого объекта для приложения сил со стороны отдельных «критически мыслящих личностей». На полемику Маркса с «Литературной газетой» братьев Бауэров в «Святом семействе» опирался позднее Ленин в полемике с русскими народниками.

В противовес братьям Бауэрам, Маркс и Энгельс уже в «Святом семействе» обосновали мысль о том, что никакое подлинно глубокое революционное изменение мира невозможно без поднятия исторического самосознания массы и без ее превращения в активного субъекта истории. Разбирая в «Святом семействе» роман Э. Сю, Маркс высмеял в лице героя романа «Парижские тайны» «критически мыслящую личность», соответствующую идеалам Бауэров, которая ставит себя над «униженными и оскорбленными» и, считая их неспособными прийти себе на помощь, хочет «делать историю» за них. Позднее Маркс и Энгельс вернулись к тому же вопросу в «Немецкой идеологии», где они осмеяли претензии Макса Штирнера на роль нового мессии, краеугольным камнем учения которого был «Единственный» (то есть новый вариант бауэровской «критической личности»).

Таким образом, стоявший остро перед Достоевским вопрос об объединении разума и морали сознательной личности и большой человеческой массы с ее нравственным миром, хранящим в себе опыт поколений, их совесть и мудрость, имеет большое значение также и

для сегодняшнего дня. Причем, как выяснили Маркс и Ленин, дав ответ на вопрос, мучивший сто лет тому назад также и Достоевского, единение личности и массы без ущерба для их самостоятельности и духовной свободы становится реально возможным лишь в процессе их совместного творческого участия в революционном преобразовании жизни.

После революции 1848 года Маркс и Энгельс не один раз снова обращались к проблеме личности и массы, развивая каждый раз в соответствии с требованиями исторической обстановки дальше те общие выводы по этому вопросу, к которым они пришли еще до революции. Известно резко отрицательное отношение Маркса и к карлейлевскому «культу гениев», и к тактике революционеров старого, заговорщического типа — таких, как Бланки, претендовавших на то, чтобы «делать» революцию за массу, без ее участия. В своих письмах к Лассалю по поводу его исторической трагедии Маркс и Энгельс отвергли взгляд автора «Зиккингена», что историю призваны «делать» отдельные герои, противопоставляющие себя «косной массе». Поэтому не случайно, что, при всем различии исходных позиций Маркса и Достоевского в оценке нечаевщины, они совпали в беспощадной резкости ее осуждения.

Трагедия большинства социалистов и революционеров эпохи Достоевского была в том, что все они в той или иной мере всегда в конце концов возвращались на гибельный, роковой путь разрыва между личностью и массой. В противоположность этому Маркс уже в годы формирования своего учения выдвинул мысль, что идея становится силой лишь тогда, когда она овладевает массами. Но овладеть массами рабочего класса и крестьянства идея может при условии, когда они не являются для нее «материалом и средством», а наоборот — когда она соответствует их сокровенным интересам, составляет для них глубочайшую внутреннюю потребность, их живую душу, когда она пробуждает их разум, творческую способность и инициативу, развязывает их скрытую энергию. Только на этой основе, как показали Маркс и Ленин, возможна та реальная встреча народа и интеллигенции, прочное единство между ними, к которому Достоевский призывал своих современников и людей будущих поколений и в котором он видел необходимую предпосылку, гарантию гармонического будущего человечества.

В декабре 1877 года Достоевский писал в «Дневнике писателя» в связи со смертью Некрасова — великого поэта, с которым вместе вступал на литературное поприще: «В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его... в любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой». И далее: «Вечное же искание... правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями» (26, 125). Когда Достоевский писал эти слова, он думал не только о Некрасове, но и о себе. В них — выражение той постоянной озабоченности судьбами человечества, тревоги за будущее людей, того искреннего гуманизма и демократизма, которые делают наследие Достоевского живым и сегодня для людей нашей, социалистической эпохи.

4

Автор одной из самых последних зарубежных работ о Достоевском — молодой английский ученый М. Джоунс — высказывает некоторое недоумение по поводу того, что советские исследователи (в том числе автор этих строк) относят к числу важных проблем изучения Достоевского вопрос о природе его демократизма. Сам М. Джоунс полагает, что проблема эта является для понимания произведений Достоевского более или менее второстепенной и более того — что она впервые начала занимать советских ученых лишь, так сказать, в конъюнктурном порядке в 1971 году, в связи с подготовкой к юбилею писателя¹.

Со всем этим никак нельзя согласиться.

Вопрос об отношении писателя к народным массам, к их чаяниям и идеалам всегда имел принципиальное значение для марксистской критики. «Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа», — писал бо-

¹ Jones Malcolm V. Dostoyevsky. The Novel of Discord. London, 1976, p. 196.

лее ста лет тому назад К. Маркс¹. А В. И. Ленин посвятил ряд специальных статей вопросу об отражении в творчестве Толстого идей и чаяний тогдашнего русского крестьянства, его силе и слабости. Ленин показал при этом, что величие Толстого-художника не могло быть правильно понято и оценено теми, кто не ощущал грохота и волнения того великого народного «моря», грозное и суровое движение которого отразил Толстой — мыслитель и художник.

Вот почему вопрос о связи творчества Достоевского с народной Россией не мог не занимать советскую критику уже в первые пооктябрьские десятилетия. Более того, вопрос этот был поставлен — как это, может быть, ни покажется неожиданным М. Джоунсу — задолго до Октября, и притом писателями и критиками-символистами, в том числе Вячеславом Ивановым и Александром Блоком, из которых последний постоянно и настойчиво подчеркивал в своих высказываниях о Достоевском органическую связь его творчества с самосознанием народной России.

В эпоху Достоевского, как и в наши дни, было немало людей, которые с антипатией и брезгливостью относились к народным массам. К их числу принадлежали порою и люди несомненного дарования, известные философы и мыслители. Достаточно назвать имена Шпенгауэра и Ницше в Германии или К. Леонтьева в России. Однако, хотя на Западе в наше время имя Достоевского часто тенденциозно сближают с именем Ницше (или К. Леонтьева), в действительности их разделяет бездна.

Достоевский никогда не считал себя писателем «для немногих». Наоборот, он прямо называл себя выразителем жизни и чаяний обойденного «помещичьей литературой» демократического «большинства» русского общества, проводником интересов не «одной десятой» части его членов, но его «девяти десятых». Этот демократизм получил отражение не только в страстном призыве Достоевского перед народной Россией, но и во внутренних глубинных эстетических основах его творчества. Достоевский-писатель никогда не стремился занять позиции «над схваткой», он горячо любил полемику, журнальную борьбу и охотно принимал в ней участие. Его любимым чтением была газета, а люби-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 147.

мым занятием — прогулка по городским улицам, где он напряженно всматривался в лица «обойденных и униженных париев общества», стремясь угадать их глубоко интересовавшую его скрытую внутреннюю жизнь. Не случайно Достоевский особенно симпатизировал писателям и художникам ярко выраженного демократического склада — Шиллеру, Гюго, Ж. Санд, Бальзаку, Диккенсу, Некрасову, и в то же время весьма строго судил о салонной и академической живописи, восхищаясь «Бурлаками» Репина и жанровыми полотнами передвижников. Не смущаясь относительно низким художественным уровнем современного ему газетного романа-фельетона, отнюдь не переоценивая — вопреки распространенным утверждениям — таланты таких популярных его представителей, как Э. Сю или Ф. Сулье, Достоевский проищательно сумел оценить тем не менее новые возможности, которые жанр этот открывал для расширения читательской аудитории, для демократизации самой поэтики романа. В отличие от тех романистов своей эпохи — в их числе Флобера, — которые, смертельно боясь банальности, часами упорно работали над каждой фразой, но в то же время тщательно избегали всего сколько-нибудь выходящего за границы обыденного, полагая, что стремление к занимательности, сильные страсти и характеры отжили свое время и представляют в условиях современного мира не более чем архаическую дань «романтическим» вкусам толпы, Достоевский относился к последним с большим уважением и не боялся упреков критики в «фантастичности» и мелодраматизме. Подобно своим любимым писателям — Шекспиру, Шиллеру, Гюго, Бальзаку, — он любил сильные эффекты и страсти, предпочитая мелочной, педагогичной шлифовке стиля сильную, порой шероховатую и «неправильную», но выразительную речь.

В буржуазной науке наших дней широко распространено убеждение, что к вопросам человеческой жизни Достоевский подходил прежде всего как «антрополог», пытаясь отыскать ключ к ее противоречиям и загадкам в извечной противоречивости природы человека и человеческого бытия. Между тем нетрудно показать, что такой взгляд на Достоевского опровергается содержанием каждого из его романов в отдельности и логикой всей его мысли и творчества в целом.

«Достоевский был не только антрополог, но и социолог», — верно писал один из наиболее тонких и про-

нительных исследователей его творчества¹. И как раз то обстоятельство, что Достоевский-«социолог» всецело заслонен на буржуазном Западе в наши дни Достоевским-«антропологом», роковым образом сказывается на большинстве современных работ о Достоевском, там выходящих.

Недооценка или прямое отрицание Достоевского-«социолога», подмена его Достоевским-«антропологом» — беда почти всех работ буржуазных ученых о Достоевском. И наоборот, громадное достижение советской науки о Достоевском — признание принципиального, определяющего значения для понимания Достоевского — художника и мыслителя конкретно-исторических художественно-«социологических» аспектов его мысли и творчества.

Достоевский, о чем неоспоримо свидетельствует анализ его мировоззрения не только 40-х, но и 70-х годов, яснее, чем кто бы то ни было из русских писателей его времени, не принадлежавших к революционно-демократическому направлению, понял переломную роль Великой французской революции XVIII века в истории Западной Европы. Он писал в «Дневнике писателя», что «кровавая французская (а вернее европейская) революция конца прошлого столетия» (23, 34) положила начало новой эпохе в истории человечества. Причем исторический смысл ее Достоевский вслед за утопистами 1840-х годов видел в том, что в 1789 году политическая власть перешла на Западе из рук «дворян» в руки «буржуа» (23, 34). Переход «политического главенства» в руки «буржуазии» (25, 152) знаменовал наступление нового фазиса европейской истории, который, по убеждению Достоевского, продолжался до конца его жизни.

Бабеф, писал Достоевский в 1873 году, был «первым человеком», сказавшим «пламенным первым революционерам», что «вся их революция... есть не обновление общества на новых началах, а лишь победа одного могучего класса общества над другим» (21, 235). Этими словами Бабеф, по убеждению Достоевского, правильно определил буржуазный характер французской революции конца XVIII века.

В результате перехода власти от дворянства к буржуазии лишь «обновился деспотизм», «Новые победи-

¹ Бицилли П. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. — Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, 1945—1946, т. 42, с. 47.

тели мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)... «свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами и не более. Мало того, явились такие учения, по которым, из громких фраз, они уже оказались и невозможными фразами» (23, 34).

Позднейшие европейские революции XIX века, совершавшиеся на глазах писателя, в частности революция 1848 года, не изменили, по мнению Достоевского, основного социально-политического результата французской революции XVIII века. Ибо революции эти не только не поколебали власти буржуазии, но, напротив, способствовали дальнейшему росту благосостояния и могущества того капиталистического собственника, который, сменив у власти «короля», почувствовал себя «всем».

«Интересы среднего сословия, — писал в 1862 году журнал братьев Достоевских «Время», — никогда не были в то же время интересами целого народа. Возникши на экономической почве, скопив в руках своих огромные богатства, среднее сословие, где оно ни возникало, всегда было представителем деспотизма капитала. Сплоченное в одно, оно везде стояло за капитал и старалось о подавлении им труда. Такова, например, французская буржуазия. Погрузившись в самый грубый материализм, она не может понять стонов народных и отказать от безнравственных своих взглядов на вещи. И нигде нет такой ошутительной и явной вражды, как именно в тех странах, где буржуазия приняла сословный характер»¹.

Достоевский в 70-х годах, как и в 40-х, отчетливо сознавал, таким образом, классовый, антагонистический характер буржуазной цивилизации и буржуазного общественного строя, сложившихся в Западной Европе после Великой французской революции. И в противоположность представителям западноевропейской либерально-буржуазной мысли, верившим в возможность «смягчения», постепенного исчезновения свойственных буржуазному обществу противоречий без уничтожения самых основ этого общества, Достоевский сознавал, что историческое развитие не смягчает, а обостряет противоречия буржуазной культуры.

«О, конечно, человек всегда и во все времена бого-

¹ Время, 1862, № 3. Критическое обозрение, с. 28.

творил материализм и склонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными из всех сил и запасенными всеми средствами деньгами, — заявлял Достоевский в 1877 году. — Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем девятнадцатом веке. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» — вот нравственный принцип большинства теперешних людей (основная идея буржуазии, заместившей собою в конце прошлого столетия прежний мировой строй, и ставшая главной идеей всего нынешнего столетия во всем европейском мире), и даже не дурных людей, а, напротив, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим классам, а падение братства, а эксплуатация богатым бедного, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель» (25, 84 — 85).

Развитие буржуазного общества, по убеждению Достоевского, неминуемо ведет культурный мир к катастрофе. От этого убеждения, сложившегося у него в молодости, Достоевский никогда не отказывался. Чтобы предотвратить эту катастрофу — и в этом Достоевский готов согласиться с Бабефом и другими европейскими социалистами, — нужно уничтожить самые основы буржуазного строя жизни, перестроить человеческое общество на новых основаниях. Но как это сделать? И кто способен взять на себя инициативу этой перестройки? Именно на этот вопрос всю жизнь напряженно искал ответа Достоевский.

Ответом на него было в 60-х годах «почвенничество» Достоевского, а позднее — надежды писателя на стихийный, инстинктивный «социализм народа русского» (27, 19). Ни столетия крепостного права, ни гнет послепетровского государства, в котором бюрократия смотрела на народ всего лишь как на косную податную единицу, не смогли — упорно доказывал Достоевский — сломить духовной самостоятельности русских народных масс, их стремления отстоять крестьянскую воземельную общину и основы своего социального мировоззрения, которыми, по убеждению Достоевского, народ пропитал также свое понимание любых вопросов — в том числе религии и морали.

В 1851 году А. И. Герцен писал в статье «Русский народ и социализм»:

«Россия никогда не будет протестантскою.

Россия никогда не будет *juste-milieu*.

Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими»¹.

Хотя слова эти принадлежат не Достоевскому, а Герцену, они, быть может, лучше, чем это удалось сделать когда-либо самому Достоевскому, выражают суть тех его убеждений, которыми было окрашено отношение Достоевского к России.

Достоевский не меньше Герцена ненавидел буржуазный, собственнический мир, мир «мещанина во фраке», мир «*juste-milieu*» (то есть «золотой середины»), мир расчета и чистогана, классового угнетения, духовной и физической посредственности. И так же, как Герцен, то сходясь, то расходясь с ним в своих исканиях, Достоевский верил, что Россия способна найти и отстоять в борьбе с влиянием буржуазного Запада свой особый путь исторического развития, противоположный буржуазному, и — более того — что предпосылки для этого уже заложены в прошлом и современном ему историческом развитии России.

В своих исторических концепциях Достоевский шел не от прошлого к настоящему, но от настоящего к прошлому. В прошлое он проецировал то, что мучило и беспокоило его в настоящем, стремясь отыскать для себя исторический путь объяснения современного положения вещей. И как бы Достоевский ни ошибался в объяснении тех или иных исторических явлений прошлого и в своем понимании взаимной связи между ними, за самыми невероятными, причудливыми и фантастическими его выводами можно легко, если руководствоваться в сложном лабиринте мысли писателя как руководящей нитью антибуржуазностью Достоевского, отыскать стоящие за ними вполне реальные жизненные проблемы его эпохи.

Утверждая вслед за славянофилами и Герценом, что русская история имеет «другую формулу», чем история тех народов Запада, которые успели к середине XIX

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт. М., Изд. АН СССР, 1958, т. 7, с. 334.

века далеко продвинуться вперед по пути буржуазного развития, Достоевский стремился нащупать в реальной русской истории такие специфические факторы и силы, которые обеспечивали бы для России возможность развития в настоящем и будущем по иному, антибуржуазному пути развития. И он гордился как художник и мыслитель теми специфическими чертами умственной жизни, нравов, жизненного уклада различных слоев населения своей родины и, в особенности, теми специфическими чертами мирозерцания, строя мысли и чувств представителей низовой, массовой, народной России, которые ставили их в нравственном отношении выше уровня высокоразвитой и «цивилизованной» буржуазной Европы.

Поэтому глубоко неверно рассматривать произведения Достоевского только как картины социального «хаоса», дисгармонии и диссонанса, как это характерно для многих современных критиков Запада. Да, Достоевский сам определял не раз одну из главных тем своих романов как современный «хаос» и «беспорядок». Но «хаос» и «беспорядок», в понимании Достоевского, не только упадок, разложение и смерть, но и рождение нового. Пусть это новое, как все остальное в современной ему России, несет на себе также черты известной внешней «хаотичности» и «беспорядочности» — все же писатель был горячо убежден, что это новое не исчезнет для человечества бесследно, но, перегорев в горниле истории, родит и принесет «много плода».

Свою страстную любовь к национально-народной России и горячую веру в нее Достоевский внес во все, о чем он писал и думал. Его вера в то, что современная ему Россия через дисгармонию и «хаос» в конечном счете движется навстречу «гармонии», находила свое выражение в самой группировке образов его романов, в логике их сюжетного развития. Не случайно во всех последних романах Достоевского такую большую роль играют представители молодого поколения — юноши и дети. Достоевский как бы подчеркивает в каждом из своих последних романов — «Идиоте», «Подростке», «Братьях Карамазовых», — что трагический опыт жизни старших поколений поможет новому, молодому поколению найти иные, правильные пути, поможет ему вывести человечество из хаоса и страданий на новую, светлую дорогу.

Но и те герои Достоевского, которые выступают как

«разрушители» и «отрицатели», как носители начала общественного «хаоса» и «разложения», также озарены в его произведениях светом, исходящим из будущего, из искомого и предчувствуемого писателем «золотого века». Поэтому, направленное на разрушение старого, их отрицание оказывается в то же время таящим в себе скрытые зачатки и семена будущего, хотя это будущее, как представлялось Достоевскому, ложно, неправильно понималось и этими его героями, и демократической частью русского общества его времени. Умение Достоевского-романиста ощутить сложную диалектику исторического «разложения» и «созидания», разглядеть в самом «отрицании» и «хаосе» сложное, порою трагическое, болезненное выражение общего поступательного движения человечества к постижению и осуществлению будущей мировой «гармонии» отчетливо проявилось при изображении таких его трагических героев-отрицателей, как Раскольников и Иван Карамазов.

Современное ему общество в России и в особенности на Западе переживало, по убеждению Достоевского, самую «роковую минуту» своей истории. И вместе с тем Достоевский не мог отделаться от мысли, что трагические переживания и блуждания человечества его эпохи были, в конечном счете, мучительным выражением «перерождения человеческого общества в совершеннейшее».

В «фантастическом рассказе» «Сон смешного человека» (1877) Достоевский выразил свое общее понимание исторических судеб человеческой культуры. Герой этого рассказа — Смешной человек — попадает во сне на отдаленную от земли планету, на которой обитают «дети солнца» — «невинные и прекрасные» люди, живущие одной жизнью с природой, не знающие зла и страданий. В результате соприкосновения с человеком чуждой им, более высокой, но и более противоречивой культуры жители этой планеты теряют свою первобытную чистоту и невинность, и их радостная, младенческая жизнь оказывается навсегда уничтоженной. Но, уничтожив, в силу своей развращенности, первобытную чистоту и гармонию на другой планете, Смешной человек отныне навсегда сохраняет в своем сердце идеал этой чистоты и гармонии, очарование которого он уже никогда не сможет позабыть и к которому всегда он будет влечься с неистребимой силой. Пробудившись от своего сна и вернувшись на землю, Смешной человек

посвящает свою жизнь «проповеди истины», которая состоит в том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» (25, 118).

Нетрудно понять связь идеи «Сна смешного человека» с убеждением Достоевского о «перерождении человеческого общества в совершеннейшее» как о конечной, определяющей исторической задаче его эпохи. Подобно обитателям далёкой планеты, которую посетил Смешной человек, человечество, по мысли писателя, пережило в отдалённом прошлом младенческий «золотой век», когда оно не знало зла и страданий. Но это состояние первобытной чистоты и невинности должно было исторически неизбежно окончиться и смениться иной эпохой — эпохой пробуждающегося сознания и вместе с тем — эпохой страданий, борьбы и противоречий. И лишь в результате прохождения через эпоху страданий, «хаоса», трагического разобщения людей, мучительной борьбы и блужданий человечество может, по убеждению Достоевского, завоевать для себя новую, более высокую мировую «гармонию».

Толстой призывал людей из образованной дворянской среды вернуться к простой, здоровой и мудрой жизни простого крестьянина. Достоевский же понимал невозможность подобного «опрощения». «Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой, — писал он о народе, полемизируя с Толстым, — наше пусть останется при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом» (22, 45). Отголоски этих полемических размышлений звучат и в «Сне смешного человека».

Несмотря на то что будущее Запада представлялось Достоевскому нередко в картине апокалипсического «конца мира», а в России пореформенная действительность рождала у него представление о «беспорядке» и «хаосе», Достоевский, хотя и смутно, все же угадывал общий поступательный характер исторического развития человечества, при всех свойственных этому развитию острых противоречиях.

Достоевский, как мы хорошо знаем, неверно представлял себе путь к новому «золотому веку». В отличие от революционеров своей эпохи, которые, по определению автора «Дневника писателя», хотели «переродить человечество», «изменив насильственно экономии-

ческий быт его», Достоевский утверждал, что человек должен измениться «не от внешних причин», а «не иначе как от перемены *нравственной*» (20, 171). И все же для творчества Достоевского было чрезвычайно плодотворным то, что историческая жизнь представляла перед ним в аспекте не только «хаоса», «разложения», но и «созидания», движения к новому «золотому веку». Стремление отыскать в историческом брожении настоящего первые, еще слабые ростки будущей «гармонии» обостряло внимание Достоевского к проблеме исторической связи настоящего и будущего. Это стремление побуждало писателя снова и снова пересматривать свое решение вопроса о путях, ведущих к будущему, искать в настоящем его зародыши и идеальные потенции. Вместе с тем оно давало Достоевскому возможность — вопреки реакционным тенденциям его общественно-политических взглядов и его критики капитализма — нередко подойти к «стригательным», «разрушительным» явлениям общественной жизни его эпохи диалектически, ощутить в них не только разрушительное, но и движущее, творческое, исторически создающее начало.

Будущий «золотой век» в представлении Достоевского не был одним лишь нравственным (или религиозным) идеалом. Свою утопию счастливого будущего человечества Достоевский — вопреки распространенным представлениям — связывал не только с осуществлением определенных религиозных и нравственных, но и известных *социально-экономических* предпосылок. Важнейшей из них он, подобно Герцену, народникам, Льву Толстому, считал наделение русского крестьянства землей.

«Кто в стране владеют землей, — писал Достоевский, — те и хозяева той страны, во всех отношениях... Каков характер землевладения, таков и весь характер нации» (25, 138). И в другом месте: «Весь порядок в каждой стране — политический, гражданский, всякий — всегда связан с почвой и с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и всё остальное» (23, 98).

Исходя из подобного, близкого народничеству, представления о связи между характером землевладения и всей организацией общества в целом, Достоевский утверждал, что для «русского человека» (и для русского крестьянина в особенности) «земля — всё, а уже из земли у него и всё остальное, то есть и свобода, и жизнь,

и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, всё, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, удержал...» (23, 99).

Усматривая в общине «зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального», Достоевский с идеалом общинного владения землей связывал не только прошлое, но и будущее человечества. «Кончится буржуазия,— писал он,— и настанет Обновленное Человечество. Оно поделит землю по общинам и начнет жить в Саду. «В Саду обновится и Садам выправится» (23, 96)¹. «Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделайте людей, то наделите их землю — и достигнете цели» (23, 98). «По-мосму, работай на фабрике: фабрика тоже дело законное и родится всегда подле возделанной уже земли: в том ее и закон. Но пусть каждый фабричный работник знает, что у него где-то там есть Сад, под золотым солнцем и виноградниками, собственный или, вернее, общинный сад, и что в этом саду живет и его жена, славная баба, не с мостовой, которая любит его и ждет, а с женой — его дети, которые играют в лошадки и все знают своего отца» (23, 95—96).

Достоевский полагал, что в будущем обществе, где человек и природа, человек и земля будут нераздельны, дети будут «расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собою чистое небо» (27, 38). «В саду... детки будут выскакивать прямо из земли, как Адамы, а не поступать девяти лет, когда еще играть хочется, на фабрики, ломая там спинную кость над станком, тупя ум перед подлой машиной, которой молится буржуа, утомляя и губя воображение перед бесчисленными рядами рожков газа, а нравственность — фабричным развратом, которого не знал Содом» (23, 96—98).

Таким образом, несмотря на религиозную оболочку, в которой выступал нередко в поздних произведениях Достоевского идеал «золотого века», исторически конкретные, ангикапиталистические черты, присущие этому идеалу, его определенная связь с народнической идеа-

¹ Приводимые фразы были вычеркнуты из июльско-августовского номера «Дневника писателя» за 1876 год цензором Н. А. Ратчинским. См.: Волгин И. Л. Достоевский и царская цензура (К истории издания «Дневника писателя»). — Русская литература, 1970, № 4, с. 113.

лизацией крестьянской общины несомненны, как несомненна и связь этого идеала — при всех его исторических противоречиях — с исканиями гуманистической и демократической мысли эпохи¹.

«...Русский человек *не раб*, и никогда не был им несмотря на многовековое рабство» (26, 115), — писал Достоевский. «Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее чрезвычайными, судорожными усилиями...» (18, 36). «Должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял... Что же это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни?» (20, 21).

Достоевский настойчиво утверждал в 60-е и 70-е годы, что богатые и образованные классы уже сказали свое «слово» в исторической жизни России и что теперь «новое слово» нужно ожидать не от них, а от народа (22, 41; 27, 16). «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, — писал он перед своей смертью, в январе 1881 года, в последнем выпущенном им номере «Дневника писателя», — и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду» (27, 21).

Ожидание ответа на вопрос о будущем страны от «серых зипунов», от народа, возросшее понимание роли народных масс в жизни России и человечества (в чем состояла одна из самых глубоких и сильных сторон мировоззрения Достоевского) причудливо объединялись во взглядах писателя с непониманием тех исторических изменений и сдвигов, которые совершались в положении и мирозерцании народа в пореформенную эпоху, с яростной полемикой против русских революционеров 60—70-х годов, стремившихся внести в массы революционное сознание и поднять их на борьбу с самодержавием. Это противоречие между правильным и глубоким по своему основному смыслу ощущением исторической

¹ Вопрос о «народнических» чертах социально-этической утопии «золотого века» у Достоевского и о связи ее с идеализацией крестьянской общины был впервые поставлен автором настоящей книги в монографии «Реализм Достоевского» (1964). См. также позднейшие специальные работы на эту тему Н. И. Пруцкова «Социально-этическая утопия Достоевского» (в кн.: Идеи социализма в классической русской литературе. Л., 1969, с. 334—375) и «Достоевский и христианский социализм» (в кн. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974, т. 1, с. 58—82).

роли народных масс для настоящего и будущего и непониманием реальных путей развития и борьбы народных масс, отрицанием исторической закономерности этой борьбы составляет характерную черту мировоззрения Достоевского в последние два десятилетия его жизни.

Достоевский горячо верил в активность русских народных масс, в то, что они призваны уже в его время сыграть решающую роль в жизни страны. И вместе с тем он отворачивался от революционных настроений народа, считая революционную борьбу выражением идеалов кучки оторванной от народной «почвы» дворянской интеллигенции. Великий романист страстно призывал народ к исторической жизни, горячо жаждал услышать от него «новое слово» — и вместе с тем считал, что это «новое слово» уже давно раз навсегда сказано и что высшим выражением вековых идеалов русских народных масс являются «союз народа с царем» (27, 22) и «идея православия» — «всесветное единение во имя Христово», к которому и сводится будто бы весь «русский социализм» (27, 19).

Достоевский не сознавал, что лишь пробуждение революционного сознания народных масс, их переход к активной революционной борьбе с устоями самодержавной и помещичьей России могли дать возможность народным массам сказать свое, подлинно «новое слово» в жизни России и что этим «новым словом» должна была стать не верность народа старым консервативным, монархическим и церковным идеалам и традициям, а, наоборот, полная их критическая переоценка, полное изживание народом этих традиций. И все же своей писательской работой, своим глубоким и страстным анализом основных «проклятых» вопросов социально-исторической жизни России и Европы своего времени Достоевский дал будущему человечеству ценнейший материал для этой переоценки.

Современные буржуазные исследователи Достоевского, говоря о проблемах его мировоззрения, особенно настойчиво подчеркивают скептическое отношение Достоевского 60—70-х годов к социалистическим идеям и теориям его эпохи. Ссылаясь на полемику Достоевского с Чернышевским и «политическим социализмом» народников, на его критику печаевщины (или на его

часто резко полемические суждения о Белинском, Герцене, западноевропейском рабочем движении), буржуазные ученые, торжествуя, делают из всего этого неопровержимый, с их точки зрения, вывод о полярной противоположности между идеями Достоевского и современным социализмом.

Между тем вопрос об отношении творчества Достоевского к современному социализму решается значительно более сложно.

Достоевский действительно скептически относился к социалистическим идеям и теориям 60—70-х годов прошлого века, он неоднократно полемизировал с ними. Но важно не забывать об одном — и притом решающем — обстоятельстве, о котором буржуазные ученые предпочитают не напоминать своим читателям.

При жизни Достоевского не существовало ни одного государства, в котором на практике, реально был бы осуществлен социализм. Научный, пролетарский социализм оставался в то время гениальным предвидением. В глазах Достоевского он был одним из многих сложившихся и развивавшихся на Западе социалистических учений, хотя и успешных завоевать там на свою сторону многочисленных сторонников. К тому же, хотя Достоевскому были известны как имя Маркса, так и факт существования I Интернационала, он имел о них достаточно смутное, неопределенное представление, не проводя сколько-нибудь отчетливого различия между марксизмом, с одной стороны, и анархизмом или «политическим социализмом» народников — с другой. Иное дело альтернатива социализма, то есть буржуазное общество и государство: о них Достоевский мог судить не на основании более или менее отвлеченных теоретических предвидений и программ, а на основании вполне реального социально-исторического и собственного своего жизненного опыта. И опыт этот привел Достоевского еще в молодые годы к прочному и неопровержимому, с его точки зрения, убеждению, от которого он не отказывался ни на одну минуту впоследствии, как бы ни изменялись при этом другие стороны его мировоззрения, — к убеждению в том, что буржуазный строй жизни, буржуазное общество и государство являются крайней точкой развития человечества по враждебному человеку, губительному для него антигуманистическому пути и что «буржуазная формула единения людей»

должна быть заменена иной, противоположной по своему духу, более высокой и справедливой.

Именно антибуржуазность (а не «антисоциалистичность») Достоевского является основным зерном всего его мировоззрения и творчества в целом. Без учета ее невозможно верно разобраться ни в Достоевском-«антропологе» или «социологе», ни вообще в каком бы то ни было другом существенном вопросе его творчества.

Достоевский не верил в возможность перестроить общественную жизнь людей на разумных и гуманных основаниях. — утверждают, как правило, современные реакционно-буржуазные истолкователи Достоевского. Подобно экзистенциалистам и представителям философии «абсурда» в наши дни, он смотрел на жизнь как на трагическую бессмыслицу, как на картину иррациональной, хаотической борьбы темных сил, неподвластных человеческой логике и противящихся всем попыткам ее изменить. Этот популярный на современном Западе миф о Достоевском буржуазные философы и литературоведы хотели бы тенденциозно обосновать своим разбором «Записок из подполья», «Бесов», «Легенды о Великом инквизиторе».

Между тем та критика отвлеченных оптимистическо-просветительских идеалов «высокого» и «прекрасного», которая составляет философское зерно названных (и ряда других) произведений Достоевского, не имеет, как проищательно понял еще при его жизни Константин Леонтьев, ничего общего с «ничевечеством» реакционной философии конца XIX и XX века.

В «Записках из подполья» их антигерой заявляет, что человек далеко не всегда руководствуется в своих действиях соображениями об их пользе (или выгоде) для себя, как думали просветители XVIII века, но что явно неразумная личная прихоть, простой «каприз» могут быть для него важнее, чем достижение личной выгоды. Означает ли это, как полагают в наши дни многие зарубежные интерпретаторы, что Достоевский устами Человека из подполья утверждал мысль о том, что мотивы, которыми руководствуется в своих действиях человек, алогичны, иррациональны, недоступны нашему познанию, а следовательно, и то, что пути человека и общества будто бы «неисповедимы»?

Нетрудно понять, что пафос «подпольного» мыслителя — совсем в другом. Да, человек, по мысли автора

«Записок», может предпочесть явную невыгоду выгоде, и часто поступает именно так. Но предпочитая в этом случае невыгоду выгоде, он, с точки зрения Достоевского, действует отнюдь не необоснованно и не «иррационально». Личный каприз дорог ему потому, что исполнение этого каприза дает ему сознание удовлетворения, обусловленное тем, что проявить свою личность иначе в существующих условиях этот человек не может.

Другими словами, предпочитая исполнение прихоти своей (или общей) выгоде, человек, поступающий подобным образом, действует, по мнению «подпольного» героя, вовсе не нелогично и не бескорыстно. Напротив, в действиях его есть свой — и немалый — резон. Ибо человек, которого имеет в виду в данном случае «подпольный» герой, это человек, подобный ему самому, — человек, который из тех многочисленных зол и унижений, которые уготованы ему враждебным ему обществом, больше всего страдает от того, что, *сознавая себя личностью*, он в то же время поставлен в условия, в которых личность не только не может о себе заявить, но на каждом шагу подвергается бесчисленным, новым и новым унижениям. И именно поэтому выше всего на свете «подпольный» мыслитель ставит проявление своей личности — хотя бы дикое и анархическое.

Мысль о том, что проявление личного «я» — пусть аморальное и разрушительное — человек, подвергающийся постоянному социальному угнетению, готов зачастую предпочесть личной выгоде, могла в эпоху Достоевского представляться своеобразным психологическим парадоксом. Однако в свете достижений последующей социологической и психологической науки она давно утратила свою кажущуюся парадоксальность, и, во всяком случае, мысль эта отнюдь не сводима к утверждению принципиального иррационализма и алогизма человеческих поступков.

Да! Униженный и оскорбленный обществом человек способен сорвать свою злость на других и даже на самом себе. Подросток или юноша, которому родители прожужжали уши о добродетели (между тем как на деле, в чем он легко мог убедиться, они сами отнюдь не руководствуются нормами добродетели и их моральные сентенции представляли один обман), может невзлюбить добро и предпочесть ему порок — из протеста против окружающего лицемерия. Тот, кого всю жизнь на-

сильно заставляли поступать вопреки своей воле, предоставленный самому себе, вряд ли будет руководствоваться соображениями отвлеченной целесообразности, — прежде всего он захочет дерзко насладиться своим «хотением» — хотя бы во вред себе и другим. Даже увидев перед собой «хрустальный дворец» (как психологически вполне здраво и убедительно рассуждает антигерой Достоевского), такой человек вполне может пожелать выставить ему язык, чтобы испытать незнакомое ему до этого чувство радости от того, что он наконец может свободно напраказывать. Но о чем свидетельствуют все подобные примеры действий человека, направленных явно во вред самому себе? Вовсе не об их нелогичности и об «иррациональности» человеческой природы в понимании Достоевского, как полагают многие из зарубежных поклонников писателя, исповедующие модные в наши дни иррационалистические философские идеи и теории.

Утверждая, что в обществе, где господствует насилие, человек зачастую предпочтет исполнение своего «каприза» собственной пользе, лишь бы он мог при этом на минуту почувствовать себя личностью и насладиться ощущением своей свободы, заявляя, что для того, кто подвергался всю жизнь подавлению и унижению, инстинктивная жажда проявить свою личность, хотя бы во вред другим людям и самому себе, нередко окажется важнее, чем идеал правды и справедливости, Достоевский *вовсе не оплевывал идеала правды и справедливости*, как и не утверждал, что человек по природе своей неспособен различать добро и зло, правду и неправду. Писатель доказывал иное — а именно, что человек его эпохи больше всего страдал от невозможности ощутить себя личностью и что именно это ощущение себя личностью было для массы людей в его эпоху первой, самой важной и настоящей потребностью.

Мысль о том, что самое страшное унижение для человека — пренебрежение его личностью, заставляющее его чувствовать себя ничтожной, затертой грязными ногами «ветошкой», выражена с огромной впечатляющей силой уже в первых произведениях Достоевского — «Бедных людях» и «Двойнике». Если другие писатели натуральной школы 40-х годов, изображая вслед за Гоголем положение бедного чиновника (и вообще рядового бедняка), склонны были в первую очередь делать акцент на его забитости и юридическом беспра-

вин, то Достоевский с самого начала остро почувствовала другую сторону социальной драмы своих героев — глубокое оскорбление в условиях тогдашнего общества их личного человеческого достоинства.

В Макаре Алексеевиче Девушкине важно не только то, что его внутренний мир несонзим с внутренним миром Акакия Акакиевича. Еще существеннее то, что он ощущает себя личностью. А почувствовав себя личностью, Макар Алексеевич начинает предъявлять к себе и другим такие требования, мысль о которых никогда не приходила в голову гоголевскому герою. Осчастливленный и окрыленный в первый момент добротой к нему «его превосходительства», герой Достоевского — как мы можем догадаться, хотя он и не говорит об этом прямо — чувствует себя в следующий момент раздавленным его снисхождением. И дело тут не в болезненной «амбиции» Девушкина, а в том, что, как безошибочно чувствует Макар Алексеевич (хотя, может быть, он и не умеет этого высказать), какими бы искренне добрыми чувствами ни был движим «генерал», помогающий бедному чиновнику, в самом факте общественной благотворительности есть нечто унижающее и оскорбляющее того, кто вынужден пользоваться ею.

Не один Макар Алексеевич, получив от «его превосходительства» до зарезу нужные ему деньги, вместо того чтобы отплатить своему благодетелю добром, ведет себя явно «неподобающим» образом, «бунтует» и пропивает эти деньги. Маленькая Нелли, которую берет к себе домой, кормит и обогревает Иван Петрович, предпочитает бежать на улицу и нищенствовать, лишь бы не чувствовать себя обязанной «благодетелю». А Настасья Филипповна, выслушав предложение князя стать его женой, злобно отвергает это предложение и уходит с Рогожиным и его пьяной компанией.

Все это — различные художественные вариации уже известного нам тезиса «подпольного» философа о том, что человек с ущемленным чувством личности предпочитает настоять на своем, предпочитает во что бы то ни стало — пусть злобно — проявить свою личность, чем действовать, сообразуясь с требованиями отвлеченного рассудка и пользы. И тем не менее во всех приведенных примерах нельзя обнаружить ни малейшего намека на мысль об иррациональности человеческой природы. Дело идет совсем о другом.

И в «Бедных людях», и в «Униженных и оскорбленных», и в «Записках из подполья», и в главе «Бунт» из последнего своего романа Достоевский утверждает, что, как бы ни был унижен человек, больше всего на свете он дорожит своей личностью, не желая от нее отказаться ни за какие блага. А потому, как бы ни были хороши намерения того, кто хочет «облагодетельствовать» другого человека, какими бы чистыми и бескорыстными мотивами он ни руководился, его действия, утверждает Достоевский, могут привести и нередко приводят к результату, противоположному тому, которого он намеревался достичь. Ибо благодеяние, помощь «сверху» часто не смягчают и не «снимают» ощущение существующего социального неравенства, но заставляют тех, кто их принимает, пережить чувство этого неравенства с особой остротой. И едкое, жгучее ощущение личного унижения, которое нередко вспыхивает в такую минуту в душе униженного и оскорбленного человека, не только может легко перерасти в подлинную ненависть; оно способно вызвать у этого человека дикий, разрушительный порыв злобы, все сметающий на своем пути.

Этого мало. Если пользующийся «благодеянием» другого часто испытывает к нему — отнюдь не «иррациональное», а вполне психологически объяснимое, по своему вполне логичное — злобное и мстительное чувство, то сам «благодетель», «дающий», по Достоевскому, тоже не должен особенно гордиться своим бескорытием и нравственным превосходством. Ибо к желанию облагодетельствовать другого нередко примешиваются чувство грубого, почти физиологического самодовольства и даже самое низкое тщеславие. А потому, прежде чем думать о том, чтобы «осчастливить» другого, человек часто должен беспристрастно и тщательно взвесить собственные побуждения, убедиться в своей способности прийти на помощь ближнему, не оскорбив его при этом сознанием своего превосходства и не навязав ему отягощающего сознания его нищеты (или нового, тяжкого для него долга своему «благодетелю») ¹.

Иван Петрович и князь Мышкин хотели *облагодетельствовать* первый — Нелли, а второй — Настасью

¹ О пафосе «бунта» Ивана Карамазова как пафосе борьбы против «небесной бюрократии» — «отрицании господства над человеческом бездушных, мертвящих жизнь сил, лишаящих личность

Филипповну, вольно или невольно, сознательно или бессознательно смотря на них сверху вниз, так же, как сверху вниз смотрел на Макара Алексеевича его добрый начальник. Но *благодетельствовать* человеку — значит унижить его; он может почувствовать себя счастливым по-настоящему, лишь избавившись от внешней опеки и ощутив себя личностью, действующей по свободному убеждению и инстинкту и твердо стоящей на своих собственных ногах.

Из этих психологических соображений Достоевский 1860—1870-х годов исходил и в своей полемике с тогдашними революционерами и социалистами. Социалисты, не уставая повторять Достоевский и в своей публицистике, и в своих записных тетрадях, хотят «облагодетельствовать» человечество так же, как Иван Петрович хотел облагодетельствовать Нелли, то есть облагодетельствовать насильно, действуя наперекор его воле и сознанию. Именно так поступает в поэме Ивана Карамазова Великий инквизитор. Утверждая, что ему известно лучше, чем его пастве, в чем состоит для нее счастье, инквизитор заявляет, что ему дано право насильственно вести людей без всяких сомнений и рассуждений к этому призрачному счастью огнем и мечом, не считаясь с их свободным самоизъявлением, с их разумом и волей.

Упрекая революционеров и социалистов своего времени в том, что они склонны забывать о личности угнетенного человека и, отдавая все свое внимание тому, чтобы одеть и обогреть его, не заботились о его духовной свободе, Достоевский был очень далек от истины. По его собственному признанию, опыт Великой французской революции XVIII века наглядно показал невозможность равенства между угнетенными и угнетателями, — поэтому ни один подлинный революционер и социалист не мог уже в XIX веке (как и в наши дни) не заботиться о материальном благосостоянии масс. Но отсюда вовсе не следует, что все сколько-нибудь великие революционные умы эпохи Достоевского не считали своей задачей всемерно содействовать подъему самосознания, распрямлению и росту личности самих угнетенных. Стремясь поднять революционный рабочий класс и широкие народные массы на борьбу с господ-

инициативы и ответственности», см.: Семенов Е. И. К вопросу о месте главы «Бунт» в романе «Братья Карамазовы». — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976, т. 2, с. 130—136.

ствующими классами старого общества, революционеры и социалисты XIX века в России и за рубежом, во-первых, стремились пробудить сами массы к активному участию в исторической жизни, а, во-вторых, рассматривали завоевание ими экономического благосостояния лишь как предпосылку всемерного развития их личных сил и способностей.

Однако как бы мы ни оценивали сейчас идеи революционеров и социалистов эпохи Достоевского — для нас, людей XX века, важнее другое.

Отвлечемся от вопроса о том, был ли Достоевский прав или неправ в споре с революционерами своей эпохи. Пусть в споре этом правда была бы на его стороне (хотя вряд ли с этим сможет согласиться кто-либо, изучавший серьезно историю революционного и социалистического движения). Сосредоточимся на другом, более важном для нас сегодня вопросе: кто в наше время, в XX веке, утверждает вслед за Достоевским, что всякий — в том числе простой — человек имеет неотъемлемое право на духовную свободу и что одна из первых задач общества состоит в том, чтобы он мог почувствовать себя личностью? И кто является противником этих идеалов Достоевского?

Достоевский страстно и горячо утверждал, что всякий — даже самый малый и незаместный человек — самостоятельная, полноценная и сложная личность. И нападение над нею — не только в заведомо дурных, но даже в самых лучших и благородных целях — чаще всего способно породить в ней озлобление, обернуться не добром, а злом. Поэтому нужно максимально бережно относиться к человеческой личности, щадить и оберегать ее от всего, что может ее болезненно уязвить и ранить, стремиться не подавлять ее внутреннюю активность, а любовно растить ее, стремиться просветлять ее «изнутри». Все эти идеи Достоевского стали в наше время неотъемлемой частью советской социально-психологической и педагогической науки. Они обрели живую кровь и плоть в условиях реального социализма.

В современном буржуазном литературоведении чрезвычайно широким распространением пользуется сближение идей Достоевского с фрейдизмом. Признавая, что попытка самого Фрейда объяснить смысл произведений Достоевского и тайну его личности стихийно владевшей им, но постоянно подавлявшейся ненавистью к отцу была порождена односторонним, узкобиографическим подхо-

дом к Достоевскому и в настоящее время устарела, современные последователи Фрейда и Юнга предпринимают постоянно новые попытки истолковать творчество Достоевского если не буквально «по Фрейду», то хотя бы в духе фрейдизма и других, родственных ему, неофрейдистских течений.

Между тем, несмотря на всю широчайшую распространенность на Западе взгляда на Достоевского как на «предшественника Фрейда», взгляд этот основан на чистейшем недоразумении.

Краеугольным камнем учения Фрейда и других представителей так называемой «глубинной» психологии является идея многослойности человеческой личности, наиболее глубоким фоном которой Фрейд считал «бессознательное». «Бессознательное», по Фрейду, — ряд прирожденных человеку, стихийно-эгоистических по своей природе, «темных» влечений, которые обузываются и сдерживаются воспитанием и культурой. Поэтому в своем наиболее чистом виде эти влечения обнаруживаются у ребенка и дикаря.

Соответственно этому всякий ребенок и всякий дикарь являются в глазах Фрейда как бы «прирожденным» агрессором. И лишь созданная людьми цивилизация заставляет отступить присущие ребенку и дикарю от рождения агрессивные-эгоистические влечения, погружая их как бы на «дно» нашего сознания, откуда они порой поднимаются, проявляясь в обыденной жизни в виде снов или неврозов, а в более высокой области умственной жизни принимая форму религиозно-нравственных и художественных представлений.

Достаточно сопоставить эти основные положения Фрейда (которые он, в отличие от своих последователей и популяризаторов, проповедовал по-своему честно и последовательно, так как действительно верил в них) с самыми общеизвестными взглядами Достоевского, суть которых не может быть подвергнута ни малейшему сомнению, так как он выразил их с предельной ясностью, чтобы понять, что в истории человеческой мысли трудно найти двух менее похожих друг на друга мыслителей, чем Фрейд и Достоевский.

Фрейд считал дикаря, как уже только что говорилось, прирожденным «агрессором». В сочинении «Тотем и табу» (1913) он дал фантастическое изображение первобытной орды, все члены которой — потенциально отцеубийцы.

Достоевский изображал зарю человеческой культуры, напротив, скорее в идеализированном виде, — как время «Авраама и стад его» (6, 421). Первобытное патриархальное состояние в представлении его, как и в представлении его учителей-сенсимонистов, было прообразом будущего «золотого века».

Как бы ни решал для себя любой современный ученый вопрос о том, кто был в данном случае ближе к истине — Фрейд или Достоевский, — оставаясь честным ученым, он не может не признать, что взгляды их по этому вопросу расходились и что расхождение это никак нельзя признать случайным.

Фрейд полагал — и, как мы уже знаем, со своей точки зрения, вполне последовательно, — что бессознательные, «темные», даже агрессивные влечения, поскольку влечения эти, с его точки зрения, являются не благоприобретенными, а врожденными, вполне открыто обнаруживаются уже в детском возрасте. Традиционное представление о «невинности» ребенка, восходящее к глубокой древности, он считал ненаучным и наивным. Достоевский же отвел ключевое место в своем последнем романе, в эпизоде, в котором поставил своей задачей выразить самую quintэссенцию своего мировоззрения, образу невинного ребенка и теме его ничем не заслуженных страданий. И во всех других повестях и романах Достоевского образы детей фигурируют в качестве символа высочайшей, незапятнанной нравственной чистоты и невинности, как отражение «лика ангельского» на земле.

Думается, достаточно этих двух аргументов, чтобы всякая попытка сблизить Достоевского и Фрейда или приписать Достоевскому сомнительную честь считаться одним из «родоначальников» фрейдизма, потеряла для любого сколько-нибудь серьезного и последовательно мыслящего человека всякую тень убедительности.

Из всего сказанного вовсе не следует, что Достоевский отрицал сложность человеческой психики, наличие у взрослого человека (или даже ребенка) «темных», эгоистических влечений, не признавал различных форм и случаев проявления этих влечений в жизни человека и т. д. Однако решающим является то, что Достоевский принципиально иначе, чем Фрейд, понимал причины, которые порождают у современного человека те или иные, в том числе «темные», эгоистические влечения.

Достоевский отнюдь не считал, подобно Фрейдю, что человеческая натура по своей природе «лежит во зле». Он готов был утверждать скорее прямо противоположное — что даже в каждом самом испорченном и исковерканном обществе человеку его времени потенциально заложена возможность развития — при определенных условиях — в направлении к новой «мировой гармонии». Не только Смешной человек, но и князь Мышкин, Макар Долгорукий, старец Зосима восторженно относятся ко всему живому, к солнцу и воздуху, к земле и животным, к человеку в его природных — здоровых, неиспорченных — инстинктах, влекущих его не к хаосу и разрушению, а к любовному соединению со вселенной, с миром, с другими людьми. Все это кладет непереходимую грань между Достоевским и современными «ингиллистами», делает его творчество близким всем посетителям подлинно живой, человечески-любовной и действительной гуманистической мысли XX века.

6

Стремление вопреки фактам представить Достоевского предшественником современной философии «абсурда» в ее ницшеанском, фрейдистском или экзистенциалистском вариантах — одна из распространенных тенденций современного буржуазного литературоведения. Другая, не менее популярная версия новейшей буржуазной мифологии — это представление о Достоевском как о проповеднике той отвлеченной, слащавой «гуманности», фразы о которой — как отчетливо понимал Достоевский — отнюдь не всегда свидетельствуют о чистоте намерений того, кто особенно часто и охотно пользуется подобными фразами.

«Биржевики... чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности, — писал Достоевский по этому поводу в «Дневнике писателя». — И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью» (25, 101).

Либерально-мещанские писатели XIX века всячески прославляли буржуазное общество за то, что после столетий войн и феодальных междоусобиц оно принесло человечеству долгожданный и прочный мир. Достоевский же был убежден, что годы «мирного» развития буржуазной Европы после 1871 года были чреватые новыми войнами. Ибо, писал он, «буржуазный долгий мир все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает

сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, — словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма» (25, 102).

Но мало того что в условиях капитализма мир, по трезвому диагнозу Достоевского, неизбежно порождает войну. Там, где существует эксплуатация человека человеком, заявлял Достоевский, «долгий мир всегда рождает жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой», причем жиреют от него в этих условиях «лишь одни эксплуататоры народов... От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие рождает жестокость и трусость... Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: «всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое богач и какой он ему брат, и вот — все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие. Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь...» (25, 101).

Приведенными словами объясняется во многом парадоксальная позиция Достоевского в 1876—1877 годах: полемизируя с русскими революционерами и отрицая смысл освободительной борьбы внутри страны, Достоевский выступил тогда одновременно в «Дневнике писателя» с горячей поддержкой борьбы за освобождение южных славян от турецкого ига и в связи с этим страстно защищал значение для человечества справедливых, освободительных войн, какую он считал тогдашнюю войну Болгарии и Сербии, а позднее и России против Турции¹.

«Да, война, конечно, есть несчастье...» — писал в связи с этим Достоевский (25, 98). И все же суще-

¹ См. об этом: Волгин И. Л. Нравственные основы публицистики Достоевского (Восточный вопрос в «Дневнике писателя»). — Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1971, № 4, с. 312—324.

стает огромное различие между войнами захватническими, «из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи», и войной за освобождение. Войны первого рода «развращают и даже совсем губят народы, тогда как война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи, — такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов... объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию» (25, 98, 102).

Отсюда, разумеется, никак не следует, что Достоевский был защитником войны (хотя из его публицистики на Западе не раз делались и такие выводы!). Дело совсем в ином: как и любой другой общественный вопрос, Достоевский стремился вопрос о войне и мире поставить на конкретно-историческую почву. И Достоевский приходил к выводу, что «для зараженного организма», подобного буржуазному обществу, даже «такое благое дело, как мир», может порою превратиться в зло. Ибо в нем «казенные фразы о крови — всё это подчас только набор самых ничтожнейших высоких слов для известных целей» (25, 103, 101). «...Чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда» (25, 221). «Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока» (25, 101). «Но все-таки полезною оказывается лишь та война, — писал при этом романист, — которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губили их» (25, 101). И напротив, «подвиг самопожертвования кровью своею за всё то, что мы почитаем святым, конечно, правдивнее всего буржуазного катехизиса» (25, 98).

Мы видим, что, будучи великим писателем-гуманистом, Достоевский отнюдь не отрицал значения в жизни общества в определенные моменты также активного, воинствующего гуманизма. Терпение и стойкость в страдании, по Достоевскому, — великие этические ценности, но они имеют свои границы. Существовали такие исторические моменты в жизни людей, когда терпение становилось безнравственным, переходя в прямую под-

держку насилия и произвола, и тем самым превращалась в собственную противоположность. Именно отсюда истекает симпатия Достоевского-художника к «бунту» его центральных героев, несмотря на осуждение индивидуалистического характера их идей и стремлений. Достоевский был слишком могучей, титанической личностью, чтобы поэзия душевной кротости, смирения и страдания могла сделать его глухим к грозным и мятежным порывам человеческого духа, заслонить от него драматизм подлинной исторической жизни России и человечества.

«Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? — спрашивал Достоевский, сравнивая между собой два типа личности, которые он наблюдал вокруг себя: один — удовлетворенный окружающей жизнью, не противопоставлявший себя ей, и другой — духовно неудовлетворенный и ищущий. — Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые мечты могут быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чем иное благоразумие того отрока, который уже в шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитых уже бедствий и неудач, в целом, будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство» (25, 18—19).

Признавая пробуждение сознания в русском народе и «русских мальчиках» исторически закономерным, ведущим жизнь вперед, Достоевский доказывал нереальность, историческую иллюзорность толстовской проповеди личного «опрощения», «возврата» отказавшейся от благ буржуазного прогресса, «опростившейся» личности в народную, мужицкую среду. «...Старания «опроститься», — писал Достоевский, — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности» (25, 61).

Освобождение от «сложности» культуры, от власти «идей», тревоживших ум и совесть его беспокойных и ищущих современников, Достоевский считал невозможным, потому что даже самые «фантастические» из этих

идей возникали, как он сознавал, не вследствие одних лишь индивидуальных, личных особенностей развития отдельных людей, но рождались закономерно, под воздействием времени, «законов» истории и процессов народной жизни.

Признавая сложившийся в течение веков строй жизни европейских государств, исторически неизбежно приведший человечество в буржуазную эпоху к «разъединению» и потере живого нравственного начала, глубоко ненормальным и переходным, Достоевский отнюдь не считал, что человек должен признать сложившийся порядок вещей фатально неотвратимым и неизменным. Одним из краеугольных камней мировоззрения Достоевского была идея личной ответственности каждого человека за царящее в мире зло. Достоевский страстно утверждал, что ни один человек не имеет права быть глух и безразличен к страданиям другого. Все в мире связано единой цепью, и боль, пансенная одному звену, отдается в другом. Отсюда полемика Достоевского с позитивистским, фаталистическим пониманием роли «среды», переносящим вину с человека на внешние «обстоятельства», его борьба против представления о человеке как бессильном «штифтике» (или «фортепьянной клавише», приводимой в действие посторонней рукой), его призыв к действительной помощи и состраданию, стремление к установлению на земле новой «мировой гармонии». Содействовать задаче «восстановления погибшего человека» (20, 28) — таков, по Достоевскому, долг художника по отношению к настоящим и будущим поколениям. В этом также одна из важных причин близости Достоевского всей ищущей, беспокойной и тревожной гуманистической мысли нашего века.

В числе трагических проблем, остро поставленных Достоевским уже в «Записках из Мертвого дома» и продолжавших тревожить его мысль до конца жизни, важнейшее место занимает та проблема, которую, если воспользоваться языком позднейшей художественной литературы и философии, можно назвать проблемой «сверхчеловека». Характеризуя Орлова, Петрова и других преступников омского острога — людей большой внутренней силы, но развращенных «кровью и властью», — Достоевский признал страшной опасностью для общества способность человека сживаться со злом и преступлением, эстетизировать их, видеть в этом источник самовозвышения и даже морального наслаждения. В отли-

чне от Ф. Ницше и других проповедников индивидуалистической идеи «сверхчеловека», Достоевский пророчески угадал в потере личностью ощущения различия между добром и злом страшную социальную болезнь, грозящую как отдельному человеку, так и всему человечеству неисчислимыми бедствиями. Соглашаясь с тем, что даже «самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя», Достоевский считал, что «общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании» (4, 154). Мысль о том, что «многосторонность ощущений», порождаемая развитием цивилизации, может не ослаблять, но болезненно обострять «звериные свойства человека» (4, 155; 5, 112), постоянно владела писателем. Она получила выражение в каждом из главных его произведений: князь Валковский (в «Униженных и оскорбленных»), Человек из подполья, Раскольников и Свидригайлов (в «Преступлении и наказании»), Ипполит Терентьев (в «Идиоте»), Ставрогин (в «Бесах»), Федор Павлович, Митя и Иван Карамазовы (в «Братьях Карамазовых») — таков неполный перечень главных героев Достоевского, трагическая судьба которых связана с тревожными и в то же время пророческими размышлениями писателя, вызванными исследованием проблемы морального и социального зла, его временной или полной победы над человеческой душой и сердцем. «Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и обратно — непрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности», — писал Достоевский, выражая свой высокогуманный идеал взаимоотношения личности и общества (18, 61—62).

Живя в трудную, переходную эпоху, Достоевский сознавал, что история человечества накопила к его времени много мучительных, острых вопросов, решение которых представлялось ему делом величайшей трудности. Те решения их, которые предлагались его более прямолинейно мыслившими предшественниками и современни-

ками, не удовлетворяли Достоевского, казались ему — часто не без основания — в том или ином отношении непонятными, не учитывавшими подлинной диалектической сложности и хитрости «живой жизни». Теории большинства известных ему мыслителей той эпохи Достоевский считал политической и социальной «арифметикой», низким, элементарным разделом науки, на основе которой, по его убеждению, еще предстояло создать ее «высшую математику», подлинную философию человека и человеческой истории. Своим бесстрашным художественным исследованием «глубин души человеческой» Достоевский стремился подготовить материал для этой «новой науки» (если воспользоваться термином другого великого искателя истины неаполитанца Д. Вико). В этом одна из бессмертных заслуг русского романиста перед человечеством на его великом и трудном пути к совершенствованию и самопознанию.

Достоевский был человеком своего времени, разделявшим многие его ошибки и заблуждения. Но он твердо верил, что живет в эпоху «концов» и «начал», стоит у порога новой великой эры человеческой культуры, эры, которой суждено обновить мир, сказать свое решающее слово в его истории. Предназначая великую роль в социальном и культурном обновлении человечества русскому народу, Достоевский — по примеру своего великого учителя Пушкина — призывал к грядущему братству и мирному сотрудничеству всех народов, всего человечества. В этом — смысл завещания Достоевского не только своему, но и будущим поколениям, выраженного в созданной им грандиозной романтической эпопее — одном из величайших произведений человеческого гения всех времен.

7

Широкое распространение на Западе во второй половине XIX в. натуралистической теории романа имело своим следствием «депсихологизацию» романтического героя. Руководствуясь вульгарно-материалистическим пониманием взаимоотношения физиологии и психологии, романисты-натуралисты настойчиво стремились освободить своего героя от внутренней сложности путем сведения всей его душевной жизни к элементарным, простейшим влияниям физиологической организации, «среды» и наследственности. В противоположность писателям-натуралистам Достоевский поставил в центр

своего внимания человека не с бедной и элементарной, а с богатой и напряженной душевной жизнью; причем он сумел благодаря своему гуманизму обнаружить наличие богатого, сложного и изменчивого внутреннего мира у самого простого, незаметного, рядового человека «толпы».

Центральный герой романов Достоевского — человек большого интеллектуального мужества и чуткой совести. Он требователен к самому себе и к другим, презирает компромиссы с собой, лицемерие лживой морали, господствующей в окружающем обществе. Независимо от того, происходят ли герои Достоевского из разночинной в собственном смысле слова или из дворянской среды, они с детских лет обычно оказываются свидетелями и жертвами социального «неблагообразия», рано узнают изнанку жизни. А обнаружив «неблагообразие» окружающих их социальных отношений, они делают эти отношения, связанные с ними философские идеи и нравственные нормы предметом напряженного размышления и анализа. Они не удовлетворяются чисто теоретическим анализом существующих отношений, а с самого начала смотрят на этот анализ как на средство для жизненно-практических решений и выводов. Поэтому, дойдя в ходе своих размышлений над жизнью до определенных конечных результатов, они сейчас же хотят подвергнуть их практической проверке на своем собственном, личном опыте, хотят немедленно убедиться в осуществимости и результативности своей «идеи».

Достоевский заметил, что персонажи многих из русских писателей предшествующего периода, в частности герои, принадлежавшие к галерее «лишних людей» (а также герои молодого Толстого), «могли лишь мечтать», но им не хватало энергии и сил для того, чтобы «довести ... мечту до дела» (25, 35). Персонажи Достоевского же настойчиво стремятся перейти рубеж, отделяющий замысел от исполнения, слово от дела. Перед каждым из них «неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы», без решения которых им «жить нельзя» (24, 48), и это не дает им покоя, толкает из сферы отвлеченного мышления к практическому действию.

Но как сохранить те блага, которые несет обществу мыслящая «свободная» личность, и в то же время избавить ее саму и человечество от антиобщественных, отрицательных начал и задатков, порождаемых в ней буржуазной цивилизацией? Вот вопрос, который посто-

янно вставал перед автором «Преступления и наказания». При всей своей гениальности Достоевский ни здесь, ни в других своих романах не смог нащупать исторически верного пути к его решению. Этим обусловлены апелляции Достоевского к страданию и смирению, призванным, по мысли романиста, обуздать дремлющие на дне ума и сердца «свободной» личности разрушительные задатки, способствовать ее духовному возрождению, воссоединению с народной правдой. Самому романисту нередко представлялось, что в призывах к внутреннему просветлению, очищению личности страданием состоит тот последний, главный вывод, который вытекает из его художественного анализа трагической нескладницы современного ему бытия. Но уже наиболее проищательные современники Достоевского поняли то, что в наши дни очевидно: как ни трогала Достоевского поэзия душевной кротости, смирения и страдания, она не могла побудить его отказаться от мятежных раздумий и устремлений, от признания их закономерности на пути человечества к общественной правде, добру и справедливости.

«Идея» Раскольникова о двух разных разрядах людей, из которых одни рождены для того, чтобы повиноваться и терпеть, а другие имеют право «преступать» любые законы — божеские и человеческие, глубоко безнравственна и бесчеловечна. Но это не значит, что Раскольников — «отрицательный» персонаж, традиционный «злодей». Раскольников — *трагическое* лицо, в его сердце и в сердцах других героев-«отрицателей» Достоевского разворачивается на наших глазах борьба добра и зла. Без острой мысли Раскольникова, без его диалектики, «отточенной, как бритва», фигура его потеряла бы для читателя свое обаяние. Более того, нельзя не признать, что совершенное Раскольниковым необычное, «идейное» преступление также придает его образу особый, демонический интерес. То же самое можно сказать и о других трагических героях-«отрицателях».

Отсюда вовсе не следует, что Достоевский в своих романах поэтизирует зло подобно писателям «модерна». Дело совсем в другом: он ценит в своих героях-«отрицателях» непримиримость к историческому застою, нравственную неуспокоенность, способность жить не одними узкими вопросами своего личного существования, но большими, тревожными вопросами жизни всех людей, остро ощущать необходимость коренных исторических

перемен, которые бы помогли сдвинуть человечество с мертвой точки.

Центральные персонажи романов Достоевского «идут к истине ценою преступления», если воспользоваться старым выражением Шиллера (стихотворение «Истукан в Сансе»). В этом — трагическая вина, за которую им приходится расплачиваться поражением, а часто и жизнью. Но было бы наивно думать, что, осуждая их индивидуалистические блуждания, Достоевский осуждает и движущую ими всепоглощающую жажду истины, их трудное, страдальческое устремление к неведомой им правде. Вот почему герои-«отрицатели» в его романах, искания которых (какой бы парадоксальный характер они ни принимали) питаются искренним, бескорыстным стремлением разобраться в сложных загадках жизни, мучительно выстрадав свою личную правду, сохраняют большое драматическое обаяние, не уступая в этом отношении противопоставленным им автором персонажам, в которых воплощена поэзия душевной кротости, чистоты сердца, тихого, радостного приятия мира. В обоих этих противоположных и в то же время взаимосвязанных, не отделимых друг от друга полюсах национальной жизни Достоевский ощущал биение живого пульса России. Именно диалектика борьбы и столкновения характеров, воплощающих противоположные силы и тенденции жизни, а не изображение царства мирного покоя и завершенности составляет живую основу его великого и требовательного реалистического искусства.

Апеллируя к религии, к христианской любви и милосердию как к наиболее надежным будто бы средствам преобразования мира, Достоевский мучительно сознавал, что никакие самые возвышенные религиозные идеалы не в силах победить социальное зло. «Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будут борьба и развитие», — с глубокой скорбью писал он (20, 173). Поэтому трагичен и финал жизненного пути любимого героя Достоевского, нового Дон-Кихота и Рыцаря бедного — князя Мышкина. А между тем жажда осуществления «мировой гармонии» — и притом здесь, на земле, а не в потустороннем мире, — никогда не оставляла Достоевского.

Русский роман XIX в. развивался в атмосфере переходной эпохи — эпохи, отмеченной страстными поисками мыслящей частью общества социальной и нравственной истины, постоянным духовным горением и неуспокоен-

ностью. Неудовлетворенность дворянским и буржуазным строем жизни побуждала лучшие, передовые умы в России снова и снова творчески пересматривать все основные вопросы общественного и личного бытия с целью найти новые пути преобразования жизни. Эта обстановка определила особые черты русского реалистического романа и повести — выдвигание в них на первый план образа мыслящего человека, живущего сложной и напряженной духовной жизнью, как и стремление соединить в каждом произведении — большом или малом — анализ исторически изменяющихся и общих, наиболее постоянных, основных, «вечных» вопросов жизни людей. И обе эти особенности русского реализма XIX в. получили в романах Достоевского исключительное по яркости и мощи художественное выражение.

Для западноевропейских литератур второй половины XIX в. было характерно стремление не столько к воссозданию единой, цельной картины мира, сколько к разработке ряда отдельных, более дробных художественных сцен. Роман и повесть становятся в это время на Западе для художника все чаще зеркалом не общей картины общественной жизни, но отдельного ее «куска». Напомню, что уже Бальзак пытался реализовать грандиозный замысел «Человеческой комедии» в серии романов, каждый из которых был предназначен изображать определенную, локальную сферу жизни (Париж или провинцию, жизнь дворянства или буржуазии, «частную» или политическую сферу) или особый аспект человеческого бытия (как «философские» повести и романы, обобщенно-символический образный мир которых отличен от образного мира других частей его эпопеи). В этом отношении жанр романа, созданного Достоевским, — также антипод западноевропейского романа его эпохи, ибо что бы ни ставил в нем в центр своего внимания романист — историю необычного и сложного преступления, «историю одной семейки» или любое другое жизненное явление, — конечной целью его всегда остается «перерыть» в романе «все» вопросы (7, 148), осветить — через призму истории единичных лиц и событий — весь сложный комплекс философских, социальных и нравственных проблем, в которых сфокусировано прошлое, настоящее и будущее человечества, его вчерашний, сегодняшний и завтрашний день.

Сложные, противоречивые формы развития личности в эпоху распада помещичье-патриархального общества,

семьи, старого, прочного крепостнически-чиновничьего правопорядка (с его уничтоженными или уничтожаемыми канцеляриями), лихорадочная ломка всех старых бытовых и нравственных устоев, переоценка традиционных, завещанных веками нравственных ценностей, с одной стороны, и бурное развитие личного начала во всех слоях общества, с другой, — таков тот общий всемирно-исторический эпохальный фон, на котором развивается действие в повестях и романах Достоевского. На этом фоне Достоевский рисует своих главных героев, защищающих свою человеческую личность от наступающей на них со всех сторон, обезличивающей их, грозящей им, по собственному их признанию, превращением в старую и грязную, затертую ногами «ветошку» действительности. В борьбе за свою личность одни из них, более элементарные по своему складу, как Голядкин или Прохарчин, готовы опереться на свои чиновничьи «права» или на накопленный ими капитал, гарантирующий им, как им до поры до времени представляется, относительную независимость или ограждающий их от неожиданных потрясений. Другие, более сложные модификации личного протеста, которые были известны Достоевскому, различные, неоднозначные по общественному содержанию способы личных исканий, личного бунтарства, возникающие на этом пути «фантастические» идеи, иллюзии, ложные формы сознания он исследовал в позднейшую эпоху в своих больших романах. Но как бы ни менялись и ни усложнялись фабула и герои этих романов, исследование основных, устойчивых в наиболее общих своих контурах форм движения личного сознания, личных исканий и личного протеста в пореформенную эпоху остается неизменно главным их содержанием.

Достоевский стремится показать, в особенности в повестях и романах 60—70-х годов, что в жизни человечества настала эпоха, когда ни один человек ни в одном самом тихом провинциальном уголке не может остаться в стороне от общего лихорадочного движения общества. Все люди вовлечены так или иначе в общее движение, сама жизнь неумолимо ставит перед ними одни и те же «проклятые» вопросы. При этом возникают бесконечно многообразные, неповторимо сложные в каждом отдельном, частном случае формы преломления этих вопросов в головах и сердцах людей, разных по уровню своего развития, по характеру понятий и навыков среды, по образовательному цензу, профессии и имущественному

положению, людей, неравных друг другу по нравственным задаткам и возможностям. И все же все эти люди живут в одном общем мире, дышат одним воздухом и в силу объективных законов истории каждодневно вынуждены сознательно или стихийно решать — и практически, и теоретически — одни и те же общие, «мировые» вопросы. Поэтому в мире Достоевского ни один персонаж не остается вполне пассивен и безразличен для другого. Жизнь каждого здесь — постоянный, страстный диалог с другими людьми, с миром и вселенной, большие, открытые вопросы жизни которых еще не решены, хотя вопросы эти, как полагает автор, действительно требуют от современного человечества прочного решения. В этот общий диалог вовлечены образованные классы и народ, Россия и остальные страны и народы Европы и всего мира, каждый отдельный человек и все человечество в целом.

Центральными темами западноевропейского реалистического романа XIX в. были обычно разгул хищничества, победа темных, собственнических инстинктов, темы утраченных иллюзий, нравственного измельчания и гибели личности в мире пошлых буржуазных страстей. В романе же Достоевского, как в русском романе XIX в. вообще, центральное место занял образ страстно ищущего, мятущегося и борющегося человека, который разрывая путы окружающих его общественных условностей и преодолевая собственные иллюзии, с громадным трудом стремится разобраться в окружающей его сложной путанице отношений, понять наиболее глубокие стороны своего личного и общественного бытия.

Мысль героя в романе Достоевского как бы втягивает в себя одну за другой различные стороны общественной жизни, подвергая их острому и придирчивому анализу, теоретически и практически поверяя их собственным опытом героя. Это позволило романисту, рисуя судьбу отдельного человека, наполнить роман до краев огромным и разносторонним содержанием, сделать его широким, неисчерпаемым зеркалом национальной жизни, показать личность героя в ее сложных взаимоотношениях с обществом и народом.

В свое время В. Гумбольдт заметил, что в поэмах Гомера рождение и смерть, напряжение и покой, героическое и обыденное, война и мир сменяют друг друга с той же правильностью, с какой происходят чередование вдоха и выдоха, смена времен года или биение

человеческого сердца. При величайшем разнообразии эпизодов, характеров, сюжетных коллизий, при постоянных поворотах во взаимоотношениях героев их переплетение в гомеровском эпосе подчинено могучему чувству ритма и строгому единству: круговорот вещей, их рост и изменение для гомеровского певца неотделимы от вечного, непреходящего порядка вещей, имеющего божественное происхождение¹. Об аналогичном желании осмыслить всемирную историю и вообще человеческую жизнь как своего рода «вечное возвращение», как периодическую смену приливов и отливов — и в смене поколений, и в ходе умственного и нравственного созревания отдельных людей, и в движении необъятного исторического моря — Толстой открыто заявил в «Войне и мире»,

Универсализм романов Достоевского — иной по своей природе. Их лихорадочный темп рождается из ощущения исторически закономерной и неизбежной ломки сложившегося порядка жизни людей прежних, более спокойных эпох, с его постоянными, регулярно повторяющимися приливами и отливами. События в романах Достоевского совершаются загадочно, неожиданно, «вдруг», они наплывают друг на друга, теснят одно другое. И все же в этом «беспорядке» и «хаосе» (по определению самого романиста) есть свой высший художественный и исторический смысл, одновременно трагический и радостный. Ибо, как мы уже писали, Достоевский уверен, что, несмотря на все те муки, которые неизбежно сопровождают всякую историческую ломку и рождение нового, он и его герои — участники и свидетели сложного процесса «перерождения человеческого общества в совершеннейшее» (25, 193). Историческое «семя», которое таит в себе современный мир, по Достоевскому, еще не созрело, но оно уже зреет, уже приносит и должно принести в будущем России и человечеству «много плода».

Гегель полагал, что в буржуазном обществе с выходом из средневековой анархии воцаряется прозаический гражданский правопорядок, при котором исчезает почва для появления самостоятельно действующей, активной человеческой личности. Поэтому, опираясь на опыт романов Гете и Вальтера Скотта, основным историческим содержанием романа как эпоса нового времени Гегель признал историю воспитания личности обществом, вос-

¹ См.: Гумбольдт В. О поэме Гете «Герман и Доротея». — В кн.: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1967, т. 3, с. 144.

питания, в ходе которого она освобождается от своих юношеских бурных порывов и увлечений, приспособляется к буржуазному правопорядку и открывает для себя поэзию в жизненной прозе.¹ Достоевский же — и в этом отношении он явился одним из величайших художников-диалектиков не одного XIX века, но и всех времен — отчетливо осознал как романист, что взгляд на буржуазный правопорядок как на нечто прочно и окончательно сложившееся, как на последнее слово истории человечества, представляет глубочайшее заблуждение. Нет ни одной мельчайшей «клеточки» классового общества и государства, где прочно царил бы порядок и «благообразие», все здесь находится в раздвоении и противоречиях, в постоянной борьбе и брожении. И чем больше возрастают несвобода человека, отчуждение людей друг от друга, тем больше обостряются самостоятельность и активность человеческого самосознания, стремящегося вырваться из тех узких границ, которые поставила ему буржуазная цивилизация, противопоставить «буржуазной формуле единения» людей иную, высшую формулу мировой гармонии (26, 168—169). На этом пути отдельный человек и человеческий разум неизбежно терпят поражения и ошибки, но остановить их движение вперед невозможно, ибо оно неотъемлемая черта «живой жизни», глубоко укоренено в самой внутренней природе вещей.

8

Вопросом, который стоял в центре внимания русских революционных демократов и всех главных представителей передовой русской литературы 40—60-х годов, был вопрос о борьбе с крепостным правом, его проявлениями в политической, социальной и культурной жизни страны. Внимание Достоевского же — и это определило с самого момента его вступления в литературу особое, исключительное положение его произведений среди произведений писателей середины XIX в. — было отдано в первую очередь вопросу о том, каковы потенциальные силы и возможности, скрытые в груди того «маленького человека», за освобождение которого искренно и горяч ратовала передовая литература 40-х годов. Не таится ли опасность для светлого будущего людей не в одних

¹ См.: Гегель. Соч. М., 1958, т. 14, с. 273—274.

лишь сдавливающих их сословно-крепостнических путях, но и в том формально «свободном», по существу же своему *буржуазном* человеке, который в результате Великой французской революции XVIII в. освободился на Западе от средневековых стеснений и борьба за освобождение которого встала на повестку дня в XIX в. также и в России? Таков вопрос, к размышлению над которым жизненный опыт Достоевского подвел его уже в молодые годы.

Человек с ущемленным чувством личности, как почувствовал уже в эти годы Достоевский, — существо далеко не простое, весьма противоречивое. Ибо едкое, жгучее чувство личного унижения, испытанное им, может перерасти в душе «маленького человека» большого города не только в ненависть к своим угнетателям, но и породить в его душе склонность к социальному юродству, властолюбивые «наполеоновские» или «ротшильдовские» мечты, мстительный дикий порыв злобы, все сметающий на своем пути. И тогда, казалось бы, внешне мирный, незлобивый «маленький человек» может превратиться в тирана и деспота, в грозную опасность для общества и для самого себя.

Достоевский был горячим поборником освобождения личности. Он отвергал любое насилие и надругательство над человеком, неотделимые от природы классового, дворянского и буржуазного общества, и доказывал, что не может быть оправдано никакое решение общественных вопросов, которое не опиралось бы на свободу каждого члена общества, не отвечало его глубинным духовно-нравственным чаяньям и идеалам.

Но Достоевский показал и другое: нет и не может быть большего врага свободы личности, чем сама же мнимо «свободная личность».

И на Западе, и в России развитие капитализма несло с собой подъем чувства личности. Но подъем чувства личности при капитализме не мог не принимать часто самые противоречивые формы. Освобожденная личность могла стать в этих условиях в равной степени и созидательной, и отрицательной, разрушительной силой. И именно эту вторую, деструктивную тенденцию, свойственную буржуазной свободе личности, никто в мировой литературе не выразил с такой трагической глубиной и силой, как Достоевский.

Достоевский рано понял, что повседневная будничная жизнь дворянского и буржуазного общества рож-

дает не только материальную нищету и бесправие. Она может поднять со дна души «маленького человека» весь веками накопленный там исторический шлак, вызвать к жизни нередко фантастические «идеи» и идеологические иллюзии, — «идеалы содомские» в мозгу людей, — не менее гнетущие, давящие и кошмарные, чем внешняя обстановка жизни. Внимание Достоевского — художника и мыслителя к этой сложной, «фантастической» стороне бытия большого города позволило ему соединить в своих повестях и романах скупые и точные картины повседневной, «прозаической», будничной действительности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, такой философской масштабностью образов и силой проникновения в «глубины души человеческой», какие редко встречаются в мировой литературе.

Исследователи Достоевского в прошлом не раз были склонны упрекать его в том, что в своем исследовании болезненной раздвоенности души мелкого чиновника или петербургского «мечтателя» он зашел слишком далеко, преувеличив эту раздвоенность и придав ей в своем творчестве некое извечное, метафизическое значение. С этим обвинением сегодня нельзя согласиться без существенных оговорок. Достаточно вспомнить о ленинском анализе психологии мелкого крестьянства или об оценке Марксом и Лениным противоречивых черт, присущих различным течениям и типам мелкобуржуазной, мещанской революционности, чтобы понять реальное историческое значение художественно-психологического анализа души петербургского чиновника или интеллигентного разночинца в произведениях Достоевского, какие бы ложные и ошибочные выводы ни делал из этого анализа порою сам писатель.

Если мстительность, злоба, мрачные «наполеоновские» (или «ротшильдовские») мечты, никем не замеченные, могут существовать до поры до времени на дне души мещанина, обывателя, «маленького человека» большого города, то насколько большую социальную опасность представляет для человечества то же мрачное и уродливое «подполье», если оно гнездится на дне души не «маленького», забитого и робкого, а развитого, интеллигентного, мыслящего буржуазного человека! Этот вопрос Достоевский решает в каждом из своих больших романов и повестей. И писатель приходит к выводу, что буржуазная свобода, индивидуализм и аморализм несут человечеству не меньшую опасность, чем са-

мое страшное стеснение и угнетение личности. Ибо нет такого зла, которого не могло бы породить своеволие «свободной» личности: часто ей свойственны не только дикие, бессмысленные, капризные фантазии, вспышки раздраженного самолюбия,— она способна на самый жестокий, разнузданный деспотизм по отношению к другим людям. Будучи доведенной до предела, искусственно преувеличенная идея свободы личности превращается в свою противоположность. И в этом уродливом виде она приводит не только к тому, что рвутся все нормальные, естественные связи личности с обществом, нацией, мирозданием, но и к неизбежному нравственному разрушению и деградации самой же «свободной» буржуазной личности.

Трагизм положения мыслящих героев писателя в том, что, переживая разлад с окружающим обществом, отрицая страстно его несправедливость и зло, они несут в себе сами груз порожденных им ложных идей и иллюзий. Яд буржуазного индивидуализма и анархизма проник в их сознание, отравил их кровь, а потому самым страшным своим врагом являются они же сами. Болезнь и раздвоенность окружающего общества рождает у них столь же больное и разорванное сознание, вызывают к жизни в их головах глубоко антиобщественные, аморальные идеи, зловещие и разрушительные по своему характеру.

Одним из первых Достоевский верно почувствовал, что восстание против старой, буржуазной морали посредством простого ее выворачивания наизнанку не ведет и не может привести ни к чему хорошему. Лозунги «убей», «укради», «все дозволено» и т. д. могут быть субъективно, в устах тех, кто их проповедует, направлены против лицемерия буржуазного общества и буржуазной морали. Ибо, провозглашая в теории «не убий» и «не укради», последние на практике возводят убийство и грабеж в повседневный «нормальный» закон общественного бытия. Но объективно лозунги эти представляют собой апологию зла, т. е. *более агрессивную, злобную форму той же буржуазности.*

Беда Достоевского была в том, что в борьбе с индивидуалистическим своеволием буржуазной личности он и сам нередко вынужден был всего лишь выворачивать наизнанку ее жизненную философию. Насилию он противопоставлял культ страдания, «гордости» — «смирение». В результате реальная история человеческого об-

щества со свойственными ей сложностью и драматическими конфликтами превращалась под пером Достоевского зачастую в бесплотную схему, в отвлеченное столкновение добра и зла, бога и дьявола, «идеала Мадонны» и «идеала содомского», Христа и Великого инквизитора. Ибо, сознавая верно бесперспективность и разрушительность «бунта» интеллигента-одиночки, сжигаемого огнем скрытого честолюбия, писатель до конца жизни так и не сумел провести водораздел между анархо-индивидуалистическими блужданиями интеллигентной богемы больших городов и самоотверженной, ясной и последовательной по своим целям революционной мыслью.

В этой связи следует особо остановиться на романе «Бесы». Роман этот, отразивший острую полемику Достоевского с освободительным движением 60-х годов, долгое время воспринимался критикой и в России, и на Западе однозначно — как произведение антиреволюционное. История нашего века показала, что дело обстоит значительно сложнее. Достоевский в «Бесах» выразил также и ту мысль, что революционное движение не развивается в безвоздушном пространстве, оно не отгорожено непроницаемой, глухой стеной от окружающего общества и его идей. А это означает, что в среду участников революционного движения могут проникать — и на деле проникали уже в XIX в. — наряду с самоотверженными и честными борцами за революцию и социализм, готовыми пожертвовать жизнью за счастье народа, также представители деклассированной мелкобуржуазной богемы — Петры Верховенские и Шигалевы, скрывающие под маской ультралевых, мнимореволюционных или псевдосоциалистических фраз свое истинное лицо честолюбивых и нечистоплотных псевдореволюционеров, для которых призыв к «прямому действию» означал всего лишь призыв к удовлетворению собственного тщеславия и аморализма. Наш век подтвердил, что Достоевский в этом отношении не ошибся. Достаточно вспомнить, что Муссолини в молодости был близок к социалистическому движению, что одним из идеологов «прямого действия» во Франции был анархист Ж. Сорель, что гитлеровцы именовали себя «национал-социалистами», не говоря уже о тех деструктивных, разрушительных, опасных для судеб человеческой культуры началах, которые обнаружили в наши дни как правые, так и левозэкстремистские течения различного рода, глубоко

враждебные гуманизму и подлинному, реальному социализму. Недаром Маркс и Энгельс сошлись с Достоевским в непримиримо резкой оценке нечестивщины, хотя они и подходили к ее оценке с иных, пролетарских позиций. Однако заслуга писателя, художника, как заметил еще Чехов, состоит прежде всего в том, чтобы *поставить вопрос*, а не в том, чтобы всегда верно его *решить*. И в этом отношении заслуга Достоевского в «Бесах» — при всех глубоких противоречиях, свойственных этому роману, — не может быть оспорена. Исследуя критически духовно-правственный облик современных потомков Ставрогина, Петра Верховенского, капитана Лебядкина, Шигалева, прогрессивная мировая литература XX в. в борьбе с реакцией уже не раз обращалась и еще не раз будет обращаться к опыту Достоевского-художника.

Нечаев не был заурядным обманщиком или бесчестным честолюбцем. Но отвергая дворянскую и буржуазную мораль, он вместе с тем был готов утверждать, что для умной и энергичной личности любые нравственные законы и нормы — не более чем предрассудок, через который она свободно может перешагнуть. Ложь, провокация, доносы, убийство, элементарная нечестность, создание искусственного ореола вокруг собственной личности, желание связать членов организации круговой порукой, чтобы добиться их слепого повиновения, не противоречат, по утверждению Нечаева, задачам революционной борьбы, оправданы ее конечной целью. Об этом говорится в составленном им «Катехизисе», вдохновленном идеями Бакунина. Вот почему в свете большой истории критика нечестивщины Достоевским была полезна прежде всего для самого освободительного движения. Ибо святое дело революции не терпит грязных рук Верховенских и Шигалевых, не имело и не имеет с действиями подобного рода ничего общего. И не случайно К. Маркс еще в 70-х годах XIX в. раз и навсегда провел ясную и четкую разделительную черту между мелкобуржуазным анархизмом Бакунина и Нечаева, их релятивизмом в политике, этике и эстетике, программой мещанского вульгарного казарменного коммунизма и чуждой какой бы то ни было тени этического релятивизма, глубоко чистой и благородной по своим целям, по политическим методам и средствам борьбы программой революционной марксистской партии.

В том, что Достоевский не мог разобраться в явле-

нии нечаевщины с той степенью научной объективности, с какой анализировали нечаевщину на Западе Маркс, а в России Герцен, виновато было не только его предубеждение против революции. Порфирий Петрович узнает в мыслях Раскольникова тревожившие в молодости и его самого, но навсегда изжитые и оставленные им идеи. Точно так же Мышкин узнает самого себя (или, вернее, пережитую им в прошлом и духовно преодоленную стадию развития) в Ипполите, а Зосима — в Иване Карамазове. Создатель этих образов, разделяя народный взгляд на преступников как на «несчастных», считал «несчастливыми» также и своих трагических героев-«отрицателей». И более того: вероятно, Достоевскому нужно было в молодые годы самому пережить «изнутри» и близко узнать на примере знакомых ему людей хотя бы часть тех духовных соблазнов, которые смущают Раскольникова, Ипполита, Кириллова, Ивана Карамазова, и с болью вырвать их из себя, одержав над этими соблазнами внутреннюю победу, чтобы получить право нравственно осудить «идеи», смущающие этих его героев, выступить в качестве неподкупного судьи буржуазного индивидуализма и буржуазной морали со всеми ее мнимыми, призрачными ценностями.¹

Подлинный смысл и уроки «Бесов» по-настоящему раскрылись для человечества в условиях нашего, XX столетия. Достоевский еще в XIX веке сумел зорко разглядеть в «Бесах» и подвергнуть художественно-патологическому исследованию зачаточные, утробные формы такого явления, получившего особое распространение в

¹ «Das ist ein schon überwundener Standpunkt» («Это уже преодоленная и отвергнутая точка зрения») — так сказал сам Достоевский В. В. Тимофеевой-Починковской о своем отношении к философским сарказмам и парадоксам героя «Записок из подполья» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964, т. 2, с. 176). И эти слова верно характеризуют отношение Достоевского не только к человеку из подполья, но и к идеям, высказываемым другими его трагическими героями. Достоевский полагал, что, пройдя через подобные духовные искусы, человек должен уметь мужественно их отвергнуть. Но он отнюдь не испытывал притяжения к философии жизни подпольного человека: психологическое «двойничество», вопреки широко распространенному представлению, было ему чуждо. Достоевский ценил в своих трагических героях масштаб их личности, моральную требовательность и неуспокоенность, максимализм мысли, отражение духовного «скитальчества» как черты национального характера, но антиобщественные идеи их строго и беспощадно осуждал, глубоко сознавая гибельность этих идей для человеческой личности и человечества в целом.

условиях общественно-политической жизни XX в., как политическая реакция, выступающая под флагом революции, — какими бы лозунгами, правыми или «левыми», она ни прикрывалась. Художественно-психологический анализ «Бесов» явился важным уроком для человечества в годы борьбы с фашистской чумой. И сегодня этот роман остается ценным оружием в борьбе передового человечества с экстремизмом как правого, так и «левого» типа, с политическим авантюризмом, казарменным коммунизмом, с эстетизацией зла и насилия в политике и культуре.

Стоит вспомнить о том, что, в то время как героическая революционная молодежь 70—80-х годов XIX в. и ее идейные руководители гневно отказались признать в героях «Бесов» хотя бы отдаленное сходство с собою, уже многие представители русских модернистских кругов начала XX в. — Д. С. Мережковский, А. Л. Волынский, Л. Шестов, наоборот, не без восхищения узнали в героях романа самих себя, ощутили свое тесное психологическое родство с ними. И позднее жизненная философия героев «Бесов» и их идейные блуждания вызывали пристальное сочувственное внимание всей буржуазной интеллигентной богемы XX в.

Исследование метастазов душевной жизни буржуазного человека, критика индивидуализма и анархизма в романах Достоевского сохраняют все свое значение для современности. И все же в том особом повороте, который получило в его творчестве изображение трагических блужданий человеческой личности, брошенной в водоворот капиталистической цивилизации, была своя — весьма серьезная — слабая сторона.

Начиная с эпохи крестьянской реформы русская монархия встала, по Достоевскому, на путь исправления исторической ошибки Петра I. Она отказалась от взгляда Петра на народ как на косную массу и, добровольно освободив крестьян с землей, сделала первый шаг по пути сближения с «почвой». «Западническая» же интеллигенция не поняла значения этого шага. Вот почему она, а не монархия Александра II представляет, по Достоевскому, в современных условиях тот принцип «барского», «помещичьего» пренебрежения к народу, истоки которого писатель возводит к Петру.

Поэтому монархия оказывается, по парадоксальному выводу Достоевского, более «народной», чем интеллигенция. Если же интеллигенция также имеет

право на признание заслуг своих «лучших людей», то это — участники реформы 1861 года, тогдашние либеральные мировые посредники, публицисты славянофильского лагеря, упорно и постоянно напомиравшие русскому обществу о том, что оно должно не только учить народ, но и учиться у него, — а не Белинский, не Герцен, не Чернышевский. В деятелях же не только либерального, но и освободительного движения Достоевский готов видеть «людей, не то что уже презирающих, но чуть ли не совсем отрицающих даже весь народ наш, и признающих в нем, кажется, по-прежнему, всего лишь одну косную массу и рабочие руки, точь-в-точь как признавали это два века сряду до великого дня девятнадцатого февраля» (25, 10).

Доказывая, что самодержавие и церковь в России XIX века были более «народны», чем либеральная и народническая интеллигенция его эпохи, Достоевский исходил из того, что русские народные массы в его время были настроены монархически. Крестьянская вера в царя, православие широких народных масс, а также сохранный русским крестьянством, несмотря на века крепостного гнета, общинный строй землевладения казались ему более прочной опорой «русского социализма», чем «теоретические» и «книжные» (в его представлении) идеи западных социалистов и последователей Чернышевского в России. В этом было глубочайшее заблуждение Достоевского. Зловещая тень старого классового общества заслонила от него величие нового революционного мира, рождавшегося на его глазах, — мира, которому, несмотря на все трудности его исторического становления, принадлежало будущее.

Изображая бесперспективность и разрушительность «бунта» интеллигента-одиночки, сжигаемого огнем скрытого честолюбия, Достоевский не умел провести водораздела между анархо-индивидуалистическими блужданиями интеллигентной богемы больших городов и самоотверженной, ясной и последовательной по своим целям революционной мыслью. Именно в этом — трагедия Достоевского, человека и художника, породившая глубочайшую противоречивость его мысли и творчества.

Призывая имущие классы и интеллигенцию преклониться перед «народной правдой», Достоевский не видел того, что реальный облик народа и содержание его «правды» в пореформенную эпоху, в условиях развивавшейся в России борьбы классов, не могли остаться

неизменными. Мучительные и тяжелые социально-экономические процессы, совершавшиеся в русской пореформенной деревне, толкали крестьянство на путь массового протеста, на борьбу с помещиками и абсолютизмом. В городах же рос и формировал свое политическое сознание российский пролетариат, которому в будущем предстояло создать свою революционную марксистскую партию, предстояло возглавить трудящихся и повести их на штурм самодержавия. Этих глубоких исторических перемен Достоевский не сознавал.

9

Одни из распространенных тезисов западных литературоведов — отрицание реалистической природы творчества Достоевского. Достоевский шел к сюжетам и образам своих романов не от жизни, а от прочитанных им книг, утверждает американский литературовед В. Террас. Эта общая особенность творческого метода русского романиста проявилась, по его словам, уже в ранние годы: в «Бедных людях» молодой Достоевский отталкивался от традиционной схемы сентиментальной повести, а в «Двойнике» своеобразно пересмыслил романтические литературные образы и клише. И в дальнейшем для творческого воображения Достоевского, в отличие от других русских писателей его времени, исходной точкой служили книги его предшественников, а не реальная русская общественная жизнь. Обосновывая свой тезис, В. Террас опирается на утверждение А. Мальро, выдвинутое в книге «Воображаемый музей», о том, что подлинное искусство не имеет ничего общего с жизнью и что представление об искусстве как отражении действительности — иллюзия.¹

Подчеркивая особую роль сюжетов и образов предшествующей литературы для творческого воображения Достоевского, В. Террас ссылается на работы А. Л. Бема, В. В. Виноградова, Л. П. Гроссмана и других исследователей, дореволюционных и советских. Однако он совершенно ошибочно интерпретирует смысл их наблюдений.

Как не раз писал Достоевский и в молодые годы и позднее, исходной точкой его художественных наблюдений и философских размышлений всегда оставалась

¹ Terras V. The young Dostoevsky (1846—1849). A critical study. The Hague — Paris, 1969, p. 167, 277 и др. См. о книге В. Терраса подробнее мою статью «Наука о Достоевском сегодня» (Русская литература, 1971, № 3, с. 21—22).

«текущая действительность», социальные, психологические и нравственные конфликты русской и всей европейской жизни его эпохи. Именно упрек в неумении видеть реальные факты жизни, понять их сокровенный смысл, их значение для литературы Достоевский адресовал своим современникам. И не случайно Достоевский стал в конце своей жизни создателем такого своеобразного, синтетического художественно-публицистического жанра, каким явился «Дневник писателя»: его творчество с самого начала было своеобразным социальным, нравственным, художественно-психологическим анализом «текущей действительности» и ее проблем. Отсюда его постоянное внимание к газете как к неисчерпаемому кладью обойденного вниманием литературы, «сырого» жизненного материала.

Другими словами, Достоевский — независимо от того, нравится это или не нравится его западным почитателям, — был и навсегда остался в своем творчестве великим реалистом. Его творчество служит одним из наиболее совершенных достижений русского классического реализма XIX в. Любая попытка отрицать эту неоспоримую истину не может и не сможет никогда приобрести хотя бы видимости научной убедительности.

Вопрос состоит не в том, принадлежат ли романы Достоевского к шедеврам мирового реалистического искусства (это бесспорно), а в другом, ибо реалистическое искусство, как все на свете, подвержено развитию. И для Пушкина, и для Достоевского, и для Толстого исходным моментом художественного творчества служила объективная действительность, ее реальные формы. И однако произведения каждого из этих великих русских писателей-реалистов обладают своими особыми, индивидуальными, исторически неповторимыми чертами. Верно понять эти особые черты, охарактеризовать индивидуальное своеобразие великого писателя-реалиста, его вклад в историю русского и мирового реалистического искусства слова — такова важнейшая задача научного изучения Достоевского.

Да, Достоевский обладал особой, исключительной, поистине «гениальной», по определению одного из своих исследователей,¹ чуткостью по отношению к ситуациям и образам предшествующей русской и мировой литера-

¹ См.: Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель. — В кн. О Достоевском. Сб. II. Прага, 1933, с. 7—24.

туры. Но это отнюдь не означает, что к своим художественным шедеврам он шел не от жизни, а от книг, как полагает В. Террас. Дело совсем в ином: в гениальной интуиции Достоевского — художника и мыслителя, в его способности охватить мыслью «текущее», «сиюминутное» и более общее, непреходящее, уловить связь между сегодняшним днем жизни человечества и всеми предшествующими веками его истории.

Достоевский был в высшей степени русский писатель. Его мысль и его творчество были неразрывно спаяны с родной страной, ее людьми, их сложными индивидуальными и общими историческими судьбами. И вместе с тем русский народ и русская культура, их прошлое, настоящее и будущее неизменно представляли перед мысленным взором Достоевского в их взаимосвязи с прошлым, настоящим и будущим вселенной, мира и человечества.

В известном смысле можно сказать, что творчество Достоевского впитало в себя всю мировую литературу. Оно уходит своими глубочайшими корнями и в русскую культуру прошлого, начиная с древней литературы и фольклора, и в культуру мировую, начиная с греческой и римской древности. И в то же время оно тесно связано со всей современной ему культурой, философией, литературой и искусством. Писатели всех стран и веков были его литературными собеседниками. Ибо он понимал, что это были не просто люди, писавшие книги, но люди, отразившие великую драму человеческой истории, ту драму, последующие акты которой продолжали разыгрываться на его глазах. Поэтому Достоевский относился к творчеству писателей и прошлых веков, и своего времени страстно-заинтересованно. Достоевский умел воспринимать созданные ими образы, умел видеть смысл их творения в широкой всемирно-исторической перспективе. Так, любимая им картина Клода Лоррена из Дрезденской галереи «Асиз и Галатя», которую он истолковал как изображение «золотого века», была для него не обычным идеализированным ландшафтом в духе классицизма, а тесно связывалась в его сознании с вопросами о прошлом и будущем человечества, — тем искомым его гармоническим будущим, к которому оно движется сложным путем в своем историческом развитии. И такой же глубокий всемирно-исторический смысл обретали в его понимании «Божественная комедия» Данте или образ Дон-Кихота. Алексей божий человек

или Мария Египетская, так же как Клеопатра или Наполеон, оказывались для писателя символами судеб и переживаний людей его эпохи, с их муками, борениями и исканиями. И так же он смотрел на Книгу Иова или на Евангелие, в которых видел отражение борений и духовных исканий человека не только прошлых, но и своей эпохи. Даже в маленьком стихотворении Фета Достоевский стремился раскрыть выражение глубокой тоски человечества по идеалу, его стремления к будущей гармонии. Вот почему у Достоевского так много цитат и упоминаний «вечных образов»: с точки зрения романиста, поэты и мыслители все время были его союзниками в борьбе за овладение истиной, в его стремлении глубоко проникнуть в смысл человеческой истории, нащупать в ней путь движения к будущему. Все это делает творчество Достоевского особенно значительным, глубоким и масштабным для нас сегодня. Он умел увидеть в мировой литературе ее глубочайшую современность, смог эту современность творчески прочувствовать и пережить. И сам он, изображая самую текущую, злободневную современность, умел поднять ее до высот трагедии. Как равный с равным Достоевский вступил в состязание с Шекспиром.

Сопрягая в своем творчестве сегодняшний и вчерашний день человечества, заставляя Раскольникова размышлять о Магомете и Наполеоне, проводя параллель между героями «Братьев Карамазовых» и персонажами шиллеровских «Разбойников», Достоевский достигал той художественности, масштабности и напряженности, которая отличает его искусство от искусства реалистов иного, более спокойного, «эпического» склада. Но и в этих и других аналогичных случаях обращение к образам и ситуациям предшествующей литературы отнюдь не вело к ослаблению связи образов русского романиста с реальной жизнью. Авторы и книги, которые привлекали внимание Достоевского, не уводили его от жизни, — самый интерес его к этим авторам и книгам был рожден ею. Те историко-культурные и литературно-художественные ассоциации, которыми переполнены романы Достоевского, расширяют реальную — социально-историческую и психологическую — емкость его образов, пронизывают их бесконечными отсветами «живой жизни», а отнюдь не выдают их литературное, книжное происхождение, как полагают В. Террас и его единомышленники.

Как на другой — наряду с книгой В. Терраса — яркий пример той сознательной и очевидной тенденциозности, какой проникнуты попытки современных модернистски настроенных ученых и писателей Запада «присвоить» себе Достоевского, оторвав его творчество от развития реалистического искусства, можно указать на известное эссе французской писательницы Н. Саррот «От Достоевского до Кафки», вошедшее в ее книгу «Эра недоверия». ¹ Представительнице течения так называемого «нового романа» Н. Саррот, как и многим другим писателям-модернистам, хотелось бы объявить Достоевского одним из тех, кто внес свой вклад в подготовку этого течения.

Достоевский-художник был одним из самых сильных в мировой литературе обличителей индивидуализма. По он был и одним из величайших поэтов человеческой личности. Раздвоение человека, его «обособление» от общества, низведение человеческого существа, оларсенного сознанием и волей, до роли грязной «ветошки» или управляемой чужой рукой фортепьянной «клавиши» — это, по Достоевскому, самое страшное зло эпохи цивилизации, зло, с которым человек не может и не должен примириться. Н. Саррот же, А. Роб-Грийе и другие представители «нового романа» призывают современного романиста не только признать «ликвидацию» человеческой личности непреложным законом истории, но именно из нее извлечь новые, незнакомые литературе XIX в. эстетические эффекты. Они видят в освобождении современного буржуазного человека от «закона личности», в распадении его жизни на ряд смутных, зыбких, иррациональных психологических «состояний» источник обогащения палитры художника наших дней.

Любимый герой Н. Саррот, А. Роб-Грийе и других представителей «нового романа» — человек, который низведен обществом до роли «пассивного приемника ощущений, впечатлений, реминисценций» ². Лишенный нравственного и психологического центра, герой подобного душевного склада, в сущности, не только не со-

¹ Sarraute N. L'ère de soupçon. Essais. Paris, 1956. Об истолковании творчества Достоевского Н. Саррот ср.: Вегнер М. Литературный модернизм и творчество Достоевского. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, Л., 1976, т. 2, с. 230—234.

² Удачное определение П. М. Бицилли. См.: Бицилли П. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. — Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, 1945—1946, т. 42, с. 63.

знает себя, но и реально уже не может быть назван личностью: он распадается на ряд смутных, иррациональных психологических состояний, связь между которыми неясна ни для него самого, ни для автора, в то время как для Достоевского потеря героем личности хотя и представляла собой реальную опасность, но вместе с тем была *величайшей жизненной трагедией*, против которой он предостерегал своих современников и потомков.

10

В. И. Ленин писал в 1910 году: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех*, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».¹ Эти слова Ленина относятся к наследию не одного Толстого, но всех русских писателей-классиков, в том числе Достоевского.

В пооктябрьский период в разные годы интерес к Достоевскому у нас испытывал свои «приливы» и «отливы». И тем не менее только в советское время творчество Достоевского стало достоянием не одних «верхних десяти тысяч», но миллионов и десятков миллионов людей, принадлежащих ко всем национальностям нашей страны. Этот бесспорный факт предпочитали годами замалчивать те зарубежные ученые и публицисты, которые лицемерно выражали свою скорбь и недоумение по поводу «недостаточного» внимания к наследию Достоевского в СССР.

С первых лет существования Советского государства деятели нашей культуры, руководствуясь ленинским учением о культурном наследстве, уделяли творчеству Достоевского серьезное внимание. В принятом в 1918 году, по указанию В. И. Ленина, декрете Совета народных комиссаров о постановке в Москве и других городах РСФСР памятников видным революционерам и выдающимся деятелям русской культуры имя Достоевского стоит на втором месте (после имени Толстого) в ряду писателей, которых, учитывая их заслуги перед русской культурой, советское правительство считало

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

необходимым навсегда увековечить в народной памяти. В 1921 году в Москве и Петрограде было широко отмечено столетие со дня рождения Достоевского. В то время как Н. А. Бердяев и другие деятели эмиграции в 1920-е годы доказывали, что творчество Достоевского и, в частности, роман «Бесы» враждебны русской революции, А. В. Луначарский в своих докладах и статьях о Достоевском стремился показать, что при всех противоречиях писателя он никогда не мог заставить себя до конца согнуться, заглушить в себе голос гуманиста, обличителя, бунтаря против социальной несправды.

После Октября рукописи Достоевского были бережно собраны в государственных архивах. Уже с 1920-х годов началась их систематическая публикация. В противовес импрессионистическим, субъективным истолкованиям творчества Достоевского, характерным для русской дореволюционной и буржуазной науки, было положено начало подлинно научному конкретно-историческому его изучению. Изучение это должно было пройти свой закономерный исторический путь развития, который на первых порах был связан с немалым числом не одних достижений, но и колебаний, трудностей, прямых ошибок. Творческое освоение великих идей марксизма-ленинизма помогло нашей науке в послевоенные годы окончательно преодолеть их, заложив основы современного, строго объективного, научного прочтения и истолкования наследия Достоевского, лучшие труды о котором, созданные советскими учеными, получили международную известность.

В настоящее время сетования о «непризнании» Достоевского в СССР отошли в прошлое. Уже давно вклад советской науки и культуры в изучение Достоевского не оспаривается за рубежом никем из серьезных ученых. Этого мало: именно труды советских ученых глубочайшим образом повлияли в последнее время на общее направление развития науки о Достоевском также и за пределами СССР. Разумеется, и сейчас в буржуазных странах Западной Европы и в США, как и в прошлом, выходит немало работ о Достоевском, задачи которых не имеют ничего общего с задачами сколько-нибудь серьезного научного изучения его творчества. Во многих десятках книг и статей о Достоевском, издающихся и переиздающихся в странах капитала, творчество Достоевского по-прежнему рассматривается вне условий места и времени, «*sub specie aeternitatis*».

nitatis», причем главной целью таких исследований являются поиски «своего» в «чужом» (как определяла когда-то программу подобных работ эстетика и критика русского символизма), т. е. искание в творчестве Достоевского истоков одного из многочисленных направлений современной идеалистической философии или современного модернизма для того, чтобы освятить их именем русского писателя и укрепить, таким образом, их пошатнувшийся в глазах читателя авторитет. В работах такого типа Достоевский рисуется апологетом подсознательных, иррациональных инстинктов, ведущих «извечную» борьбу против идей общественной дисциплины и власти «принуждения», пророком грядущего хаоса и разрушения или предшественником современной литературы «абсурда». Причем очень часто дело в подобных работах не обходится без прямых вынадов против мира реального социализма, его прошлого и настоящего.

Но примечательно другое: работы советских литературоведов, как бы критически ни относились к ним буржуазные ученые, заставляют их все чаще признавать, что те пути, по которым долгое время шло изучение Достоевского на Западе, завели буржуазную науку в тупик и что для того, чтобы выдержать соревнование с советской наукой, она нуждается в серьезном перевооружении. «В литературе о Достоевском этого (XX. — Г. Ф.) века, особенно немецкоязычной, — пишет, например, австрийский славист Р. Нойхойзер (в целом далекий от марксизма и при этом без особых симпатий относящийся к советской науке), — богословски, философски и духовно-исторически ориентированное изучение создало односторонний (чтобы не сказать искаженный), окрашенный некритическим энтузиазмом и идеологической заданностью образ Достоевского...»¹ Изучение Достоевского на Западе совершалось, подчеркивает далее Нойхойзер, долгое время под знаком идей Бердяева, который сам заявил о себе, что стремился реконструировать мировоззрение Достоевского не научным, а интуитивным путем².

В противовес внеисторическому, интуитивному подходу к творчеству Достоевского, характерному для ре-

¹ Neuhäuser R. Das Frühwerk Dostojewskijs. Literarische Tradition und gesellschaftlicher Anspruch. Heidelberg, 1979, S. 7.

² Ibid.

акционно-идеалистической философской науки, Нойхойзер вслед за советскими учеными стремится связать раннее творчество Достоевского с идеями утопического социализма, воспринятыми в кругу Белинского и петрашевцев. Если В. Террас, автор американского исследования о молодом Достоевском, о котором говорилось выше, отвергая многочисленные признания самого Достоевского о том могучем возвышающем влиянии, которое имели на него в молодости идеи утопического социализма, ставит своей целью доказать, что ничего серьезного не связывало Достоевского с другими петрашевцами и что его ранние произведения имели всего лишь характер своеобразной литературной «игры», чуждой реальному, глубокого общественного содержания, то Р. Нойхойзер стоит на прямо противоположной точке зрения. Относясь к признаниям писателя с полным и заслуженным доверием, опираясь на хорошо известные нам факты, свидетельствующие не только о горячем и искреннем интересе Достоевского к социальным проблемам, которые поставили в своих произведениях социалисты-утописты, но и о том, что революция 1848 года во Франции была воспринята им и другими участниками кружка Н. А. Спешнева как призыв к активному практическому революционному действию, Р. Нойхойзер ставит своей задачей показать, насколько глубоко и органически было усвоено Достоевским — мыслителем и художником — учение французских социалистов 40-х годов, в частности теория страстей Ш. Фурье. Отзвуки этой теории, доказывает австрийский ученый, различимы почти во всех произведениях молодого Достоевского, начиная с романа «Белые люди».

«Для Белинского, но также и для Достоевского, — пишет Р. Нойхойзер, полемизируя со многими из своих западных коллег, — литература всегда оставалась неотъемлемой частью составной жизни общества. Белинский писал в 1847 году, что литература всегда является «выражением общества». Достоевский формулирует ту же мысль более резко. В одном из своих показаний 1849 года во время следствия (по делу петрашевцев. — Г. Ф.) он приходит к категорическому заключению, что «общество не может жить без литературы». Подобно Белинскому, он осуждает взгляд на литературу, символом которого является понятие «искусство для искус-

ства». В этом отношении (курсив мой. — Г. Ф.) между Белинским, Петрашевским и Достоевским не было противоречия». ¹

Достоевский не только стремился решить «загадку человека», отталкиваясь от «теории страстей» ранних социалистов, замечает Нойхойзер, не только сохранил — пусть в преобразованном виде — навсегда верность взгляду Белинского на литературу как на отражение общественной жизни, имсущее высокую социальную миссию. Отношение Достоевского к христианско-библейской символике и в его ранних повестях, и в его романах от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых» невозможно понять, если не учитывать ту роль, которую она играла в учениях ранних социалистов и передовых мыслителей 40-х годов, от Ж. Санд до П. Леру и от Штрауса до Фейербаха. «Мы находим у Достоевского ту же свободную религиозность, которая не привязана ни к догмам, ни к ритуалам, ни к авторитету церкви...» ²

Приведенные цитаты, как я уже отметил выше, отнюдь не свидетельствуют о том, что Р. Нойхойзер в своей общей интерпретации творчества Достоевского близок к советским ученым. Нет, книга его о молодом Достоевском в целом носит достаточно эклектический характер, содержит немало произвольных догадок и допущений. Но важно то, что Р. Нойхойзер верно осознал то, что двигаться вперед в изучении Достоевского путем интуитивных догадок и прозрений, не строя каждый шаг своего исследования на реальном фактическом материале, сегодня — праздная задача. Зарубежный читатель устал и от повторения старых, и от конструирования новых, не менее шатких произвольных и априорных схем, искусственно «накладываемых» на материал. Он нуждается в «живой воде» реальной истории, а не в туманно-идеологических конструкциях и схемах. Об этом свидетельствует не только монография Нойхойзера, но и другие лучшие современные западные работы о Достоевском — работы Дж. Фрэнка, Дж. Кэбета, Ж. Катто. ³

¹ Neuhäuser R. Op. cit., S. 160.

² Ibid., S. 141.

³ Frank J. Dostoevsky. The Seeds of Revolt. 1821—1849. Princeton University Press, 1976; Kabat Geoffrey C. Ideology and Imagination. The Image of Society in Dostoevsky. New York, 1978; Cattaui Jacques. La création littéraire chez Dostoïevski. Paris, 1978.

Книги эти весьма различны и по предмету, и по методу исследования. Книга компаративиста Дж. Фрэнка «Достоевский. Семена мятежа» — первый том задуманной им четырехтомной биографии Достоевского. Автор ее стремится обрисовать в ней основные вехи творческого пути писателя и дать анализ его важнейших произведений в контексте общественной и литературной жизни эпохи. Книга же профессора Сорбонны Ж. Катто «Творческий процесс у Достоевского» посвящена выяснению специфических черт творческого метода Достоевского-романиста, которые автор иллюстрирует на примере романа «Подросток» и его творческих рукописей, изданных «Литературным наследством», а ныне в более полном виде вошедших в XVI—XVII тома академического собрания сочинений писателя. И тем не менее, как уже приходилось указывать автору этих строк,¹ обе книги объединяет одно обстоятельство. И Дж. Фрэнк и Ж. Катто ведут в своих книгах активное наступление на фрейдизм и другие априорные теории, искусственно, в «застывшем», готовом виде «накладываемые» на творчество писателя. И Фрэнк и Катто интересуют прежде всего реальные факты, а не абстрактные схемы. Неудивительно, что книга Ж. Катто получила во Франции горячее одобрение не одних литературоведов, но и прогрессивно мыслящих деятелей современной медицины. Антифрейдистская направленность ее принесла автору золотую медаль французского психоневрологического общества.²

Но наиболее, быть может, яркое свидетельство влияния советской научной мысли на труды о Достоевском, появившиеся в последние годы в странах капитализма, — книга Дж. Кэбета «Идеология и воображение. Образ общества у Достоевского» (1978).

Дж. Кэбет полемизирует в ней с теми учеными, которые рассматривают творчество Достоевского внеисторически, сводя его к решению метафизических, «вечных» проблем бытия. Творчество Достоевского, утвер-

¹ См.: C a t t e a u J. La création littéraire chez Dostoïevski (рецензия). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1981, № 3, с. 277—279.

² Более подробную характеристику книг Дж. Фрэнка и Ж. Катто, как и критический анализ основных тенденций новейшей зарубежной литературы о Достоевском (1972—1979) в целом, см. в содержательной статье-обзоре: М о т ы л е в а Т. Достоевский: новые зарубежные работы. — Вопросы литературы, 1981, № 4, с. 218—250.

ждает он (опираясь на труды советских исследователей и ученых других социалистических стран), невозможно понять, не учитывая главного — того, что Достоевский решал в своих произведениях и в своей публицистике те реальные вопросы, которые поставило перед ним его время, реальная социально-историческая жизнь пореформенной России со всей характеризующей ее сложностью и противоречивостью.

Достоевский отчетливо понимал, что «петровский период русской истории» был основан на бесправии и угнетении народных масс. И вместе с тем, так же как А. И. Герцен и его последователи — русские народники 70-х годов от П. Л. Лаврова до Н. К. Михайловского, — Достоевский считал своей задачей *предотвратить поворот России на буржуазный путь развития*. Этими-то реальными особенностями общественно-литературной позиции Достоевского были определены основные черты его мировоззрения, равно как и свойственные этому мировоззрению противоречия.

Т. Мотылева, давшая в своей статье верную в целом оценку книги Дж. Кэбета¹, не права в одном отношении: основная мысль Дж. Кэбета по своему направлению достаточно далека от марксистской теории реализма, сформулированной в письме Энгельса о Бальзаке. Дж. Кэбет учитывает в своей книге работы Маркса и Энгельса и даже прямо сопоставляет критику буржуазного мира Достоевским-художником с критикой его в трудах обоих основоположников марксизма. Но верно вскрывая в ряде случаев противоречие в решении вопросов общественной жизни Достоевским-художником и Достоевским — автором «Дневника писателя», как и внутренние противоречия в оценке ряда вопросов русской жизни в творчестве Достоевского-публициста, Дж. Кэбет не ставит своей задачей на этих примерах продемонстрировать вслед за Энгельсом «победу реализма» в творчестве Достоевского над религиозными и политическими предрассудками великого романиста. Исходя из популярного в современной буржуазной науке тезиса о том, что всякая идеология представляет собой вид «ложного сознания», автор названной монографии стремится доказать другое — что Достоевский-художник одерживал свои величайшие художественные

¹ Мотылева Т. Достоевский: новые зарубежные работы.— Вопросы литературы, 1981, № 4, с. 229.

победы там, где он освобождался от сковывавших его «идеологических импульсов»¹.

С этим тесно связан и другой недостаток книги Кэбета: отдавая должное Достоевскому-художнику, он часто несправедлив к Достоевскому-публицисту, рассматривая нередко именно публицистику «Дневника писателя» вне исторического контекста и не учитывая связи ее с конкретными особенностями места и времени. Вот почему, верно ощущая противоречивость позиции Достоевского, Дж. Кэбет в своей книге не сумел уловить той глубокой и живой демократической проблематики, которая неизменно определяла общее содержание этой публицистики, какие бы причудливые и реакционно-утопические формы ни принимала мысль Достоевского там, где от анализа вопросов русской жизни он переходит к такому ответу на эти вопросы, который не опирался на реальную диалектику русской и мировой истории, но представлял собой попытку решить их вопреки логике «живой жизни» (хотя Достоевский и прокламировал свою неизменную приверженность этой логике).

Мы видим, что под влиянием советской науки прогрессивные ученые буржуазных стран все чаще приходят сегодня к выводу, что любые попытки истолковать творчество Достоевского в духе отвлеченной, внесторической философской антропологии, фрейдизма и экзистенциализма, абстрактного гуманизма несостоятельны в наши дни. Независимо от того, изображается ли при этом великий русский писатель в образе певца современных апокалиптических настроений, пророка хаоса и разрушения, или борца за отвлеченную, метафизическую свободу духа, подобные толкования одинаково уведут в сторону от реальной исторической истины, закрывая путь к конкретному пониманию творчества Достоевского, и притом не только собственных его творчеству исторических противоречий, но и того громадного заряда положительной духовной энергии, который оно содержит для человека сегодняшнего дня.

Способствовать дальнейшему, еще более глубокому и объективному освещению реального исторического места Достоевского в истории русской и мировой культуры, раскрытию непреходящей ценности его наследия, того положительного, что несет оно в себе и что делает

¹ K a b a t Geoffrey C. Op. cit., p. 165.

это наследие живым и необходимым для участника современной борьбы за мир, за демократию и социализм, так же как трезвому критическому анализу противоречий Достоевского и современной идейно-художественной борьбы вокруг оценки и восприятия наследия великого русского писателя, — важнейшая, ответственная задача современной литературной науки.

Ни один писатель — как бы ни было велико его дарование — не может охватить всю сложность общественной жизни своей эпохи, дать верное решение всех ее трудных и многообразных вопросов. Не мог исследовать одинаково углубленно все стороны жизни своего времени, верно решить многие поставленные им большие вопросы и Достоевский: при всей своей исторической прозорливости он не сумел верно разгадать значение назревавших революционных явлений жизни России и Запада XIX и XX веков. И все же устремленность мысли Достоевского-художника к реальной жизни, к народу, настойчивое желание великого русского романиста отыскать в «хаосе» жизненных явлений своей переходной эпохи «руководящую нить», чтобы «пророчески» угадать пути в движении России и всего человечества навстречу нравственному и эстетическому идеалу добра и социальной справедливости, сообщили его художественным исканиям ту требовательность, широту и величественную масштабность, которые позволили ему стать одним из величайших художников русской и мировой литературы, правдиво и бесстрашно запечатлевшим трагический опыт поисков и блужданий человеческого ума, страдания миллионов «униженных и оскорбленных» в мире социального неравенства, вражды и нравственного разъединения людей.

Пронизывающие творчество Достоевского непримиримость к злу и страданию, глубокое нравственное беспокойство, требовательность к жизни и человеку по-новому преломились в произведениях его младших современников — Гаршина, Чехова, Короленко. Впоследствии начатое Достоевским суровое исследование души человека-одиночки, его колебаний между «гордостью» и «смирением», анализ призрачных соблазнов, которые рождает в душе буржуазного интеллигента жизнь большого города, соблазнов, толкающих его нередко к преступлению (или ведущих к «разрушению личности»), по-разному продолжили в XX веке Максим Горький и Леонид Андреев. Глубокий интерес Достоевского к мя-

тежным порывам человеческого духа, свойственные его искусству внутренняя лихорадочность и напряженность, соединенные с глубокой любовью к родной стране, оказались глубоко созвучными высокой и трагической музыке Александра Блока. Но и в суровой, величественной эпопее Михаила Шолохова с ее страстным и сильным героем, мучительно отыскивающим личную и всенародную правду в бурях революции и гражданской войны, в богатейшей галерее русских людей, воссозданных в искусстве Константина Федина, Андрея Платонова и Леонида Леонова, в произведениях Михаила Булгакова, Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Валентина Распутина и многих других советских писателей — везде, где в советской литературе получили развитие темы действенного гуманизма, суда совести и добра над всем тем, что задерживало и задерживает нравственный рост общества и отдельного человека, мешая ему пробиться вперед, навстречу идеалам социальной справедливости и правды, ощущается живое присутствие мысли Достоевского, наследование всему тому великому, что поднято им из глубин национальной традиции и возведено, по гоголевскому определению, «в перл создания».